

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παλιπομένων

*Любовь
Столица
Голос Незримого*



СКАЗКИ И ПОЭМЫ
ДРАМАТУРГИЯ

Голос Незримого

Любовь Столица

Голос Незримого. Том 2

«Водолей»

Столица Л. Н.

Голос Незримого. Том 2 / Л. Н. Столица — «Водолей»,
— (Голос Незримого)

Имя Любови Никитичны Столицы (1884–1934), поэтессы незаурядного дарования, выпало из отечественного литературного процесса после ее отъезда в эмиграцию. Лишь теперь собрание всех известных художественных произведений Столицы приходит к читателю. Во второй том вошли сказки в стихах, поэмы и драматические произведения.

© Столица Л. Н.

© Водолей

Содержание

СКАЗКИ И ПОЭМЫ	6
СКАЗКА О НЕЖНОЙ КНЯЖНЕ И О КНЯЖИЧЕ СНЕГУРЕ	6
ПЕСНЬ О ЗОЛОТОЙ ОЛОНЕ	18
ЛЕБЕДИНАЯ РОДИНА	48
СКАЗКА О МОЛОДЕЦКОЙ РУКАВИЧКЕ И О НЕЖИТИ-НЕВЕЛИЧКЕ	73
СКАЗАНИЕ О МАРИИ – ПРЕКРАСНОЙ ЕГИПТЫНЫНЕ	78
ЛАЗОРЬ ЧУДНЫЙ	82
ГОЛОС НЕЗРИМОГО	116
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Любовь Столица

Голос Незримого. Том 2

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

СКАЗКИ И ПОЭМЫ

СКАЗКА О НЕЖНОЙ КНЯЖНЕ И О КНЯЖИЧЕ СНЕГУРЕ

Золотое было время,
Было царство, жило племя,
И тем царством, не гневясь,
Седокудрый правил князь.
Правил мудро, не сурово,
Хоть и дряхлый, хоть и вдовый,
И была в него точь-в-точь
Молодая княжья дочь.
Волос долог, голос сладок,
Брови – выгнутее радуг,
А душой ко всем нежна
Распрекрасная княжна.
Куличи печет так вкусно,
Вышивает так искусно:
Города глядят со блюд,
В пальцах розаны цветут!
А начнет в своей светлице
Класть поклоны да молиться,
Обратив на образа
Лучезарные глаза —
И не знать тогда народу
Ни войны, ни недороду,
И не сеять, не сажать —
Только рожь златую жать.
Все ее за то любили,
На пирах здоровье пили
И решили: по отце
Ей сиять в его венце.
Князь же, дочь свою лелея,
Повелел всегда быть с нею
Трем из девиц-златошвей,
Трем из стариц-ворожей.
Быть посменно, неотлучно,
Делать всё, что им сподручно,
Чтоб, помилуй Бог, княжна
Не случилась скушна.
День-деньской, сидя сутуло
У серебряного стула,
Песни девушки поют,
Платья новые ей шьют.

Долго за полночь старушки,
Став у шелковой подушки,
Старый сказывают сказ,
Отгоняют вражий сглаз.
А княжна едва их слышит,
А княжна живет, чуть дышит —
Так нежна, уж так нежна,
Распрекрасная княжна!
В голубом она саяне,
Ножки в розовом сафьяне,
Белый жемчуг – по глаза,
На перстах же – бирюза.
Заболтали здесь и там уж:
– Ох, княжне пора бы замуж!
А не то ее душа
Хоть для рая хороша. —
Князь прослышал, бровь насупил
И, созвав, как сов из дупел,
Пучеглазых умных свах,
Речь повел о женихах.
Но княжна, о том проведав,
От чаев и от обедов
Отказалась – прилегла
И на три дня обмерла.
А как стала просыпаться,
Князь о том не заикается
Пред иконой дал обет
И понес ей сам обед.

Долго ль жили они миром
Друг со дружкой и с миром,
Только зимнею порой
Алой позднею зарей
Пожелалось раз девицам,
Как лазоревым синицам,
Навестить беленый сад —
Серебряный виноград.
Там княжна, как пух летая
В опашне из горностая,
Стала снежный шар катать,
Пышный, нежный ей под стать.
Тут подружки подсобили,
Брали, ставили, лепили —
И явился средь полян
Чудный, белый истукан.
Он в серебряном кафтане,
С алым поясом на стане,
В левом ухе – маргерит,
В сапожках алмаз горит.

На него дивились ели,
Звезды синие глазели,
Месяц выбрался за лес
И на дерево залез.
А девицы застыдились,
Рукавами заслонились.
Не пугалась лишь княжна:
Перед идолом она
Подняла вдруг покрывало
И его поцеловала,
Розовея, как фата,
Прямо в бледные уста.
Диво дивное тут случилось —
Проступила в снеге алость,
И из уст от девьих чар
Полетел вдруг легкий пар!
Вмиг Снегур весь вострепнулся,
Потянулся, улыбнулся,
Трижды сладостно зевнул
И на Божий свет взглянул.
Был тот взор звезды искристей,
Меда ярого игристей,
На княжну одну он пал —
И навек причаровал.
А когда подружки в куче
Убегли тропой скрипучей,
Прошептавши: – Чур нас, чур! —
Залюбился с ней Снегур.
Целовал ее он нежно,
Обнимал ее прилежно,
И, покорна, как жена,
Залюбилась с ним княжна.

Вдруг затмились звезды тучей:
Мчится по небу летучий,
Белый северный медведь
И давай рычать, реветь!
А на нем во тьме бурана
Ведьма лютая Морана,
Не щадя костлявых рук,
Плеткой хлещет всё вокруг.
Пошатнулись в страхе ели,
Месяц смотрит еле-еле,
И влюбленных среди нег
Засыпает тяжкий снег.
Обняла Снегура ведьма:
– Ну, лети скорей, медведь мой! —
Зверю стиснула бока
И умчалась в облака.

И лежит одна в сугробе,
Как в парчой обитом гробе,
Бездыханна, холодна
Распрекрасная княжна.
Там ее по алой шали
Слуги княжие сыскали
И, поникнув головой,
Понесли к отцу домой.
Князь, упав на руки рынды,
От печали плакал инда,
Вырвал прядь седых кудрей
И сокликал лекарей.
У постели те сидели,
От раздумия седели
И при свете звезд и зорь
Выгоняли злую хворь.
Пошептали, попоили, —
И, подвластна вещи силе,
В день, когда пришла весна,
Оживела и княжна.
Вновь пошла она к приходу,
Показалась народу,
Грошик кинула слепцу,
Приласкалась к отцу,
Одарила девок, нянек, —
Кика, лента, яблок, пряник —
Было каждой, что кому,
По заслуге и уму.
Но тоска княжну томила:
— Где-то княжич? Где-то милый?
На чужой он стороне,
Он не помнит обо мне. —
И точилась в сердце рана.

Вот однажды, вставши рано,
За ключи княжна взялась
И в дорогу собралась.
Облеклась она с опаской
Синей крашеной запаской,
Повязалась тайком
Алым ситцевым платком,
Прокралась пчелы невидней
Мимо юных гордых гридней
И, не узнана никем,
В поле канула затем.
Вот идет она по полю.
Вкруг: цветов пахучих вволю —
Золотые любистки
Развивают лепестки.

Как ступить она не знает —
Всё цветок нога сминает.
И к земле, душой нежна,
Нагибалася княжна
И просила, и молила,
И, целуя, говорила:
– Ох, земля, моя земля!
Ест печаль меня, как тля,
А твои цветы прекрасны,
Как один, желты и красны.
Ты прости, земля моя,
Прими на луг твой я! —
Глядь-поглядь: пред ней землянка,
Возле женшинка-смуглянка,
Меж руками колос трет,
Зернь за пазуху кладет.
– Здравствуй, милая девица!
Рада я к тебе явиться,
Чтоб за ласковость ко мне
Наградить тебя вполне.
Дам тебе я розан алый,
Не простой, а небывалый,
Что без корня, да растет,
Что без дождика цветет.
Он вовеки не завянет
И повсюду пахнуть станет,
У тебя ль, краса, в руке,
На окне иль на венке. —
Подала цветок и скрылась —
Словно в землю провалилась.
Поклонилась вновь княжна,
Вновь пустилась в путь она,
А на дар нет-нет да взглянет:
Розан – день и два – не вянет!
Вот княжна идет к реке.
Берега вокруг в песке.
Льются струйки водяные,
Серебристо-голубые.
Как тут быть ей? Нет пути!
Брод не трудно бы найти,
Да ступить она не смеет —
Возмутить струю жалеет.
И к реке, душой нежна,
Наклонялася княжна
И просила, и молила,
Умываясь, говорила:
– Ох, река, моя река!
Пьет меня, как змей, тоска,
А твои струи все чисты,

Голубы и серебристы.
Ты прости, река моя,
Возмущаю плес твой я! —
Глядь-поглядь: пред нею хатка,
Подле женцинка-косматка
Под рукой ракушку бьет,
Жемчуг за ворот кладет.
– Здравствуй, милая девица!
Рада я к тебе явиться,
Чтоб за ласковость ко мне
Наградить тебя вдвойне.
Ты о слове не жалей-ка:
Тростниковую жалейкой
Отдарю я за простой —
Самогудной, не простой.
Хорошо она играет,
Всех за сердце забирает
И выводит тонко трель,
Как не выведет сам Лель. —
Подала свирель и скрылась —
Словно в воду опустилась.
Поклонилась вновь княжна,
Вновь пустилась в путь она,
А на дар не надивится:
Всё свирель поет, как птица!

Вот идет она к горе.
Небеса кругом в заре.
Розовы лучи сияют,
На тропу ковер бросают.
А тропа пряма, вольна...
Что же стала вдруг княжна?
Где ступить она крушится —
Затенить лучи страшится.
И к заре, душой нежна,
Обращалась княжна
И просила, и молила,
Угреваясь, говорила:
– Ох, заря, моя заря!
Жжет любовь мне сердце зря.
А твои лучи приятны,
Розовы, белые, закатны.
Ты прости, заря моя,
Затеняю свет твой я! —
Глядь: пред ней шатер устланный,
Рядом девушка-светлана
Ларчик на руку берет,
В полу яхонты кладет.
– Здравствуй, милая девица!

Рада я к тебе явиться,
Чтоб за ласковость ко мне
Отплатить тебе втройне.
Вот возьми себе в награду
Золоченую лампаду.
То – диковинка, мой свет,
И другой такой уж нет.
Для нее не надо масла,
Никогда она не гасла
И не сгаснет никогда,
Полыхая, как звезда. —
Подала ночник и скрылась —
Словно в тучу схоронилась.
Поклонилась вновь княжна,
Вновь пустилась в путь она,
Лишь порой, дивясь, приметит:
Всё лампада тихо светит!

Долго ль шла княжна вперед,
Может день, а может год —
Только шла всё дале, дале,
Впереди ж синели дали.
Наконец уж, как забор,
Встал пред нею черный бор.
А в бору том чудный терем —
Счету нет оконцам, дверям!
На воротах пара сов,
Охраняет змей засов,
На дверях – рога всё бычьи,
На оконцах – клювы птичьи,
В крыше – тьма вороньих гнезд,
А над вышкой – конский хвост.
Вкруг – ни просек, ни прогалин,
Белым снегом бор завален,
И не тает снег тот век,
Не живет тут человек.
Но княжна идет без труса,
Снег метет косою русой.
Смотрит: свесился сучок,
На сучке том старичок —
Борода белей кудели
Обвивает сосны, ели.
Бьет она пред ним челом,
Дарит словом, как рублем:
– Здравствуй многие ты лета!
Чье, скажи, подворье это? —
Захихикал старый дед
И прошамкал ей в ответ:
– Проживает здесь Морана,

Дочь могучего Бурана,
Муженек ее Снегур,
С ними – я, снеговой чур.
Ох, красавица! Ох, девка!
Коль не шутка, не издевка —
Понапрасну не храбрись,
А скорей домой вернись. —
Слышать то княжна не хочет:
Он ей с другом встречу прочит!
Подступила к воротам, —
Змей шипит и свищет там,
И трезвонит в колокольца,
И в золотые вьется кольца,
Чтоб княжну не пропустить —
Побольнее укусить.
Но жалейка заиграла,
Змея сном заколдовала.
А княжна, отняв затвор,
Пробралась меж тем во двор.
Из дупла гнилой осины
Вдруг поднялся рой осиный,
Закружился, жаждал —
И уж копит яд у жал,
И серебряной иголкой
Норовит воткнуться колко,
Чтоб княжну не пропустить —
Побольнее укусить.
Зацвела тут роза ало,
Ос дремой зачаровала.
А княжна меж тем смелей
Добралась и до сеней.
Тьма вокруг нее густая,
Черных нетопырей стая
Вдруг из всех углов спешит
И летает, и пищит —
Тащит медными когтями,
Ловит черными сетями,
Чтоб княжну не пропустить —
Побольнее укусить.
Но лампада засветила,
Гадов сном заморозила.

Входит в горницу княжна.
Там – Снегурова жена,
Неулыба и неряха,
Непеченая и непряжа,
Как медведица, ревет —
Колыбельную поет.
У нее в ушах сосульки,

Перед ней четыре люльки:
В каждой люльке спит урод —
Песьи уши, щучий рот.
Белым снегом лавка крыта,
Скатерть инеем расшита,
Сундуки все изо льда,
В окнах изморозь-слюда.
Вот Морана с пересмешкой
Говорит княжне: – Не мешкай!
Здесь ты, сказывай, зачем?
А не то тебя я съем. —
Мало ей княжна сказала,
Только розан показала,
Посулясь отдать его,
Коли мужа своего
Пустит та на час обеда
К ней для ласковой беседы.
И Морана, льстясь на цвет,
«Да» – ей молвила в ответ.
А сама потом к супругу,
Чтоб не вспомнил он подругу,
С поцелуем в очи льнет:
Стали очи – синий лед.

Вот дружки в палате низкой,
Золотая с щами миска,
Ряд серебряных сулей,
Груда сладких кренделей...
Освещает тускло солнце
Сквозь узорное оконце
Темно-синий сарафан
Да серебряный кафтан.
То княжна перед Снегуром
Синеоким, белокурым,
Блюдо с лебедем несет,
Мед душистый в кубок льет.
Но Снегур, к ее обиде,
Ест и пьет, княжны не видя.
И задумалась княжна,
Подошла к нему она
И сказала: – Милый княже!
Али я теперь не та же?
Лик мой розов и румян,
Как и прежде, без румян.
Глянь, прекрасней стал он даже!
И любовь моя всё та же. —
Понапрасну час идет —
Друг ее не признает.

К ведьме вновь княжна явилась
И жалейкою хвалилась,
Обещаясь подарить,
Если час один побыть
Разрешит с ней мужу в бане,
Ту жалейку ей, Моране.
И Морана ей в ответ
«Да» – промолвила, не «нет».
А сама потом к супругу,
Чтоб не вспомнил он подругу,
С поцелуем в губы льнет:
Стали губы – алый лед.

Вот дружки – в горячей бане.
Кипяток в сребренном чане,
Вырезной полок горой,
Веник свежий и сырой...
Озаряет вечер алый
Сквозь пушистое мочало
Стан девичий – побелей,
Молодецкий – посмуглей.
То княжна стоит пред милым
И духмяным моет мылом,
И из шайки золотой
Обдаёт его водой.
Но Снегур, её не чуя,
Лишь становится под струи.
И смутилась княжна,
Обняла его она
И сказала: – Милый друже!
Али сделалась я хуже?
Грудь по-прежнему полна
Без сорочки изо льна.
Тронь, ещё уж стала туже!
И любовь храню я ту же. —
Понапрасну час идет —
Друг её не признает.

К ведьме вновь княжна входила
И лампадою дивила,
Побожась расстаться с ней,
Коль одну из всех ночей
С мужем та поспать дозволит,
А потом, пускай, заколет.
И Морана, льстясь на свет,
«Да» – ей молвила в ответ.
А сама потом к супругу,
Чтоб не вспомнил он подругу,
С поцелуем в перси льнет:

Стали перси – белый лед.

Вот дружки – в опочивальне.
У стены тесовой дальней
Кипарисная кровать,
Вверх лебяжьих думок пять...
Озаряет месяц белый
Сквозь завес поголубелый
Темный снятый сарафан,
Светлый скинутый кафтан.
То княжна пооправляла
Парчевые одеяла,
Взбила пышный пуховик —
И Снегур там с ней поник,
Но лежит, не обнимая,
Сном своим подругу мая.
И заплакала княжна.
Прилегла к нему она
И сказала: – Милый! милый!
Пробудись, проснись, помилуй!
Я дала последний дар.
Не сниму с тебя я чар
И твоей не стану милой —
Утром ждет меня могила. —
Полилась ее слеза
По лицу, как бирюза,
Перси белые кропила,
Лед студеный растопила
И прожгла до сердца вдруг —
И очнулся милый друг!
Целовал княжну он нежно,
Обнимал ее прилежно,
За любовь благодарил
И с улыбкой говорил:
– Спал я долгие, знать, веки...
Но теперь раскрылись веки. —
Не напрасно ночь идет —
Друг подругу признает.

Пробудившись поране,
Молвил так Снегур Моране:
– Ты жена моя была,
Но меня ты продала
За цветок, что пахнул сладко,
За свирель да за лампадку.
А теперь моя жена —
Распрекрасная княжна,
Что давно меня любила,
За любовь свою купила.

С ней я еду в ихний край,
Ты же, глупая, прощай!
Да покуда не позвали,
Посиди с детьми в подвале,
Не твори ты людям ков! —
И замкнул на сто замков.
Как Морана разорется,
А за нею все уродцы:
– Розан тот, что был так ал,
В кадь заброшен – он завял!
Замолчала та жалейка —
Вон лежит уж под скамейкой!
А лампадка та чадит...
Так обманывать ей стыд! —

Рассердилась баба злая,
А Снегур, коней седлая,
Взял цветные удила,
А княжна дары взяла.
Вмиг они на коней сели
И, быстрее карусели,
Из страны всегдашних вьюг
Понеслись к себе, на юг.
Распустился розан алый,
И жалейка заиграла,
И лампадка вдруг зажглась,
Лишь сокрылся бор из глаз.
Вот уж речка голубая
Поздоровалась, бая.
Вот и алая заря
Поклонилась, горя.
Вот и поле золотое
Почеломкалось травой —
И в хоромаш, наконец,
Обнимает их отец.
Прежде сделали венчанье,
После пир да столованье,
Весь народ кричал ура,
Пил от утра до утра.
До ночи плясали девки
И вели свои запевки.
Я была там, мед пила,
Да в рукав лишь залила.

1913

Москва

ПЕСНЬ О ЗОЛОТОЙ ОЛОНЕ

Глава I

Там, где ныне лишь обрывы
Да курган один безвестный,
Прежде жил народ чудесный,
Жили сказочные дивы —
Племя жен мужепохожих,
Что супругов знали многих,
Племя жен могучих, строгих,
Рыжекосых, златокожих.
От синеющих озерий
До синеющих полесий
Заселенные их веси
Простирались в кругозоре.
А главнейшая селитьба
В стенах с башнею дозорной
Встала на берег озерный —
Не дойти к ней, не доплыть бы!
Управляла же тем царством,
Тем огромным королевством —
Материнством, женством, девством —
С добротой, не с коварством
Дочь богини лунной Плены
Благосклонная Олона,
Чье священным мнилось лоно,
Чья краса слыла нетленной.
Трижды десять зим неполных
Прожила она на свете
И была как полдень в лете,
Как пред осенью подсолнух!
Женщин всех она свершенной, —
Молодая, золотая,
С плеч по пяты залитая
Блеском кос и украшений.
Нет цены цепям, бряцалам,
Медным, бронзовым, янтарным!
Волоса же лучезарным
Упадают покрывалом.
А собой она, Олона,
Что сама богиня Плена:
Тело белое, как пена,
Лик, как яблок, округленный...
А глаза у ней, Олоны,
Хоть смеются, а печальны,

Как зеленый вьюн венчальный,
Как хрусталь для стрел зеленый...
Круг десятый водят годы,
Год царит она десятый
Средь малиновой палаты,
Где лазоревые своды.
Девять лет она пред всеми
Шла в поход и из похода,
Чтяся матерью народа,
Пронся в ясном шлеме.
Девять лет она над всеми
Выясняла суть закона,
Золотой зовясь Олоной,
Сидя в тонкой диадеме.
И, как это надлежало
По дивейским их обычьям,
По уставам и приличьям,
Много в брак она вступала.
Первым мужем был ей Згара.
Не рождалось дива выше! —
Мускулистый, важный, рыжий,
Плоть, что бронза, — от загара.
Был простой он, добрый ратай,
Но она блюлася в страхе,
Словно хищной росомахи, —
Бороды его косматой.
Много Плена лиц явила —
И Олона изменилась:
Объявила Згаре милость
И другого полюбила.
Стал вторым ей мужем Уго.
Не рождалось краше дива!
Гордый, стройный, с черной гривой,
Плоть, что кость, бледна, упруга.
Был гончар он ловкий, скорый,
Но она влеклася снова,
Как от коршуна лихого,
От его ночного взора.
Плена много лиц явила —
И она рассталась с Угом:
Наградила по заслугам
И другого полюбила.
Стал ей третьим мужем Славий.
Это див родился истый!
Русый, гибкий, голосистый,
Плоть бела, что воск в расплаве.
Был гусяр он хитрый, льстивый,
Но она опять бежала,
Как от змейки тонкожалой,

От его улыбки лживой.
Много Плена лиц явила —
И Олона – не опалой —
Всё же Славия услала,
О любви же позабыла.
И пошел уж год четвертый,
Как живет Олона девой,
Без стыда, боязни, гнева,
Одиноко, тихо, твердо.
Лишь одной полна печали,
Лишь одной полна кручины:
Что на память ей мужчины
Ничего не завещали.
От тяжелых их объятий
И веселых их ласканий
Нет у ней – не камней, тканей, —
А кудрявого дитяти!
Дал ей дочку рыжий Згара,
Что была б потом царицей.
Полюбилась Огневице —
Не спасли великой чарой...
Дал сынка ей Уго черный.
Полюбил его Водяник, —
Сторожили много нянек,
А исчез в воде озерной...
Белый Славий дал уродца —
И его тотчас убили,
Закопали в чернобыли,
Как всегда у них ведется...
Так грустила раз Олона,
Выйдя в створчатые сени...
Мреял вечер предвесенний,
Городище было сонно.
Ниже – озеро Лейяла
Серой раковиной стыло,
Жемчуг розовый таило,
Вдаль Олону увлекало.
Дальше – горы Загадули
В мягком дыме лиловели,
В легкой дреме соловели
И Олону вдаль тянули.
Подошла она тут к дверце,
Словно горленка воркуя:
«Ах, не вем, чего хочу я!
Наскучались разум, сердце...
Что мне платинные пряжки,
Бирюзовые запястья?
По свое пойду я счастье,
Позабуду долг свой тяжкий.

О, Лазурницы Большие —
Город милый мой, родимый!
Будь богами боронимый!
Ворочуся из тиши я...»
И взяла вооруженья
Только нож свой испещренный,
Только обруч серебряный
И взяла из украшенья —
Облеклась рядиной длинной
И ушла, легко ступая,
Златокосая, босая,
Вдаль тропиною долинной.

Глава II

Много раз уже Олона
Покидала дивье племя,
Укрываясь на время
В глубине лесной, зеленой,
И жила там тихо тайно,
Жизнью чудной, жизнью думной
Над Лейялой светлой, шумной
В темной хижине надсвайной.
Там лечила раны битвы,
Раны сердца там лечила,
Для людей копила силы
И несла богам молитвы.
И теперь – лишь только рдело,
И ронялся бисер росный,
Начинала искус постный —
Размышляла и не ела.
А когда опять алело,
И низался жемчуг звездный,
То кончала искус слезный —
Сладко грезила и пела...
А кругом весна стояла:
Почка розовая бухла,
Голубая хвоя жухла —
Стало влажно, вражно, тало...
Расширялися заливы,
Топи, заводи, трясины,
И шепталися осины,
Ольхи, вязы, вербы, ивы.
А кругом весна стояла:
Принялась гнездиться птица,
Зверь же бросил уж ютиться —
Стало звучно, кучно, шало...

Всюду стаями тянули
Цапли, лебеди, касатки,
Стадом шли – быки и матки —
Лоси, туры и козули.
А кругом весна стояла:
Мошка реяла с игрою,
Рыба плавала с икрою —
Смутно, древно, томно стало...
На лугу плясали в круге
Мотыли, шмели и пчелы,
Под водой водили коло
Щуки, стерляди, белуги.
И пошла бродить Олона,
Улыбаясь и печалась,
И чудесны показались
Ей лесные эти склоны.
Последила путь лебязий,
Отыскала след медвежий.
Занимался ветер свежий
Золотых волосьев пряжей.
Шла с холма – и ноги мокли,
Шла на холм – и ноги сохли...
Что там: щур, звериный чох ли?
Муравейник, теремок ли?
Уж, лежа на обрывы,
Солнце ярко полыхало,
Словно облик ярый, алый —
Облик божича Зоривы!
И подеялось с Олоной:
Стала вправду золотою,
Задышала с быстротою,
Завздохала вдруг влюбленно
И в закат лесной весенний
Через ветки заревые
Помолилася впервые
Солнцебогу, а не Плене.
В миг тот ветки расплелися
От прыжка большого зверя, —
И, к добыче путь свой меря,
Глаз сверкнул зеленый рысий!
И увидела Олона
Смерть лихую недалече,
Но готовилась ко встрече,
Нож сжимая испещренный...
То не птаха засвистала,
Не запрыгала то белка,
Чья-то яшмовая стрелка
В глаз смарагдовый попала!
И тотчас же к шкуре красной,

В белых сумерках сияя,
С диких яблонь цвет сыпая,
Подошел стрелец прекрасный.
Был он юный, златолицый,
В нежной радужной раскраске,
Кудри смольные – в повязке,
Карий взор, как у орлицы!
Тонкий, легкий, крепкий, смуглый,
Стан блистал червонней слитка,
И вилась золотая нитка
По груди его округлой.
И мерещится Олоне,
Что идет к ней сам Зорива,
Перед ним она пугливо
В земном падает поклоне.
Шепчет: «Кто ты? кто? помилуй!»
«Видишь ты Стрельца-Медуна, —
Как домры глубокой струны,
Прозвучал ей голос милый. —
Я ж кого, скажи мне, вижу?»
Отвечала: «Я – Олона».
И у малого услона
Тут сошлись они поближе.
Сели рядом и сидели
С задушевностью во взоре,
В простодушном разговоре
О своем земном уделе.
Рассказала Золотая
Всё под птичьи переливы:
Как живут на взгорьях дивы,
Вера, правда их какая.
Рассказала, что творится
Там, где женское начало,
Об одном лишь умолчала:
Что сама она – царица.
И поведал ей Прекрасный
Всё под рокот соловьиный:
Как живут в лесах русины,
Как у них мужи лишь властны.
А потом они умолкли,
Странной грустью обаянны,
И повили их туманы
В серебристый лен ли, шелк ли...
Меж трепещущих осинок
Уж звезда Чигирь синела.
Вдалеке свирелью смелой
Звал глухарь на поединок.
И припал Медун к Олоне
Головою на колени,

Лепеча слова молений,
Целовал ее ладони...
И Олона позабыла,
Что они – не однолетки —
К лику в розовой расцветке
Лик, любуясь, преклонила...
В том виной Зоривы стрелы
Иль виной в том Плены иглы,
Только в них любовь проникла
И, в сердцах застряв, горела!

Глава III

Правду молвлено ведуном,
Что ведет богиня-Река
Жизнь слепую человека
И Олоны жизнь с Медуном.
В страшный час судьба свела их, —
И они остались вместе,
Словно птички на нашесте,
В тихой хижине на сваях.
Он носил к жилищу хворост,
А она – сосуд с водою,
Но была она вдовою,
Был и он, как раньше, холост.
Подарил он мех ей ланий,
А она ему – олений, —
И на них они в час лени
Спали врозь, боясь желаний.
Ибо так себе сказала
Многомудрая Олона:
Мне ль ему годиться в жены?
Предо мной он – мальчик малый.
Но ее нередко грезы
Несказанные точили,
Как жучки, что вдруг ожили,
Белоснежный ствол березы.
И его порой глодало
Непонятное хотенье,
Словно вешнее растенье
Горностай заголодалый.
Уж они не шли в обнимку,
А присев, не целовались,
Лишь глядели, припечаясь,
В зеленеющую дымку.
И Олона к царской мысли
Возвращалась всё чаще,

Видя вьющиеся чащи,
Вспоминая что-то, числя,
Наконец она открыла:
«Отдыхала я уж долго,
И теперь во имя долга
Я прошусь с тобой, о милый!»
И померк в очах Медуна
День весенний, день веселый,
Полился берилл тяжелый
По щеке румяной, юной.
Он шепнул: «Пойду с тобою,
О, с тобою, милой, вечно...»
Лук поправил свой заплечный
И пошел одной тропею.
Сзади маревели дали,
Зеленели Загадули,
Ветры ласковые дули,
Их вернуть и не гадали!
Только озеро Лейяла
Серебром в ложбине плыло,
В рог свой выгнутый трубило —
Вновь к себе их узывало.
Но они без остановки
Путь свершали некороткий.
Их равнялися походки,
Походили их сноровки.
Были к вечеру у града.
И Медун над гладью водной
Вдруг увидел круг народный
И подумал: «Вече? рада?»
Но сказала тут Олона:
«Это – игрище святое,
Это гульбище большое,
Ибо нынче День Зеленый,
Праздник почек развиванья,
А иначе дев поятя.
Отомкнут их всех объятя,
Распечатают лобзанья».
И пошла вперед с усмешкой —
Величавее павлинов,
Косы яркие раскинув
Над пестреющей мережкой.
А у берега, как стены,
Поднялись густые лозы,
Встали белые березы
Рощи солнечной священной.
И божественные птицы —
Лебедины-снеговые,
Выгнув ласковые выи,

Гоготали возле жрицы.
Им она бросала зерна,
Бормоча свои заклятья,
Девы ж дивки, скинув платье,
Шли гуськом к воде озерной.
В воду каждая полезла
С причитаньем, плачем, визгом...
Окропила жрица брызгом
Всем им груди, чрева, чресла,
Друг за другом их покрыла
Бьющей крылицей лебяжьей.
«Станьте, станьте станом глаже,
Полнтесь женскою вы силой!»
А когда на берег вышли,
Взяли юноши их с бою,
Повлекли, обняв, с собою
По траве, в кусты, камыш ли...
Белы, трепетны и тощи,
Словно рыбы, бились девы,
Стихнув, скрылись вправо, влево.
Тишь прошла священной рощей...
Только жрица молодая
В черных космах, с ликом мрачным,
В ней бродила, новобрачным
Из травы вьюны свивая.
Призвала ее Олона:
«Слава Плене! Здравствуй, Ружа!
Как живешь? Молясь, волхвужа?»
Та согнулась в три поклона,
А сама, смеясь ехидно,
Подает уже по вьюну
Ей, Олоне и Медуну,
Знак им делая бесстыдный.
Потемнела вся царица,
Как богиня в новолунье,
И упала ниц ведунья —
Вверх глаза поднять боится.
Вдруг смягчилась Золотая:
«В этот день и в этой роще
Дождалась моей ты прощи.
Но такая не всегда я.
Подыми же лик свой бледный!
Видишь этого русина?
Я беру его за сына,
Стол дарю ему наследный!»
В этот миг молодожены
По извилистым тропинам
Шли к светлеющим стволинам,
Чтоб предстать пред лик Олоны.

Темнокудры, белокуры,
Юньш-див с юницей-дивой.
Вид супругов – горделивый,
А супруг – слегка понурый.
Но во всех очах услада,
В каждой поступи утома.
Ах, Олоне всё знакомо!
«Дай, богиня, всем им чадо!»
Улыбнулась робким, хилым,
Покумиться посулилась
И тихонько удалилась
Со своим Медуном милым.
Кликнул лебедь вслед, горяя,
В серебряном переплеске,
А в зеленом перелеске
Их следила, злобясь, Рюя.
Но они не замечали —
Шли, сердцами вновь смутясь,
От любви ли все светясь,
От вечернего луча ли...

Глава IV

Сноп тридцатый жнут заходы,
День живет Медун тридцатый
Средь малиновой палаты,
Где лазоревые своды.
Всё он время при Олоне,
При улыбчивой царице —
Ходит следом иль садится
В ножках снега убеленной.
Поутру они с ним двое
Посещают непременно
Меднотынный двор военный,
Где ученье боевое.
Там, на стрельбище широком,
Череп торчат, как тиры,
И зияют глаз их дыры
В небе розовом высоком.
В них-то камни, копья, стрелы
Дивки юные бросают, —
Груди девии сияют,
Наги, потны, загорелы.
Впереди, гневна, как кречет,
Рудокудрая, литая,
Воевода Волотая,
Их уча, свой дротик мечет.

Иногда и Золотая
Вдруг спускала лук с уменьем, —
И глядела с восхищеньем
Рать девичья молодая.
На Медуна ж не глядела,
Словно был он враг презренный!
Он же был стрелец отменный,
Верный глаз имел и смелый...
После, днем, они с Олоной
Посещают, как потребно,
Сребротынный двор судебный,
Где идут дела закона.
Там, над солнечным помостом,
Встал навес с дубовым билом —
Сень голубкам белокрылым
И сорокам белохвостым.
А под ним, стары и чинны,
Дивки в кожаных рубахах,
В оловянных тусклых бляхах,
Разбирают громко вины.
Выше всех их, наблюдая,
Чтоб они не обманулись,
Бдит судья большая Юлис,
Беловласая, худая.
Иногда и Золотая
Суд судила с разуменьем, —
И внимала с восхищеньем
Рада женская седая.
О Медуне ж, как ребенке,
Лишь шепталась удивленно.
Он же был русин смысленый,
Ум имел живой и тонкий...
Ввечеру они с царицей
Посещают неизменно
Двор при храмине священной,
Где служенье Плене длится.
Там, на требище огромном
Льется кровь тельца иль птицы.
Солнцем идол золотится,
Многогрудый, с ликом темным.
Подле, в ладанках, в холстине,
Дивки, девы-вековухи,
Величавы, бледны, сухи,
Стройно молятся богине.
Посредине жрица Руя
Овекает белый камень,
Сберегает алый пламень,
Бормоча, скача – чаруя.
Иногда и Золотая

Выступала с чарым пенъем, —
И склонялась с восхищеньем
Свита девья пожилая.
А к Медуну, как к мужчине,
Относилась брезгливо.
Он же юныш был стыдливый,
Плоть имел ягнят невинней...
Кроме этих попечений
О житье-бытье народном
Часом шли они свободным
Через дворцовые ступени
В царский двор золототынный,
Где телицам белорогим,
Кобылицам белоногим
Стойлиц ряд построен длинный.
Там, в хранилище закрытом
Свет сияет переливный, —
Спят в кубышках тины, гривны,
С изумрудом, с маргеритом.
И лежат во тьме подполий
Холст беленый, холст суровый,
Серебристый мех бобровый,
Золотистый мех соболий.
И живут при том богатстве,
Стерегут его почетно
Без другой нужды работной,
Меж собою в дружном братстве,
Ото всех в великой славе
Три Олоновых супруга,
Три бывших любимых друга
Дивы – Згара, Уго, Славий.
Хлеб едят духмяный, сдобный,
Пьют медвяные напитки —
Есть всего у них в избытке,
Но они грустны и злобны.
Ибо, если уж любила
Краткий миг кого Олона,
Любит тот неутоленно,
И умрет любовь с могилой!
Но теперь, когда Медуна
Вдруг приблизила царица,
Стал в их жилах гнев струиться
Молний злей, сильней падуна.
Раз зашла во двор Олона
За цветным своим нарядом,
И Медун держался рядом,
Бледен бледностью влюбленной.
Три ключарника-супруга
Пред царицей собралися:

Подал Згара плащ ей лисий,
Ткань лазоревую Уго,
Славий тонкие застежки
С желтоватым камнем лунным, —
И заметился Медуном
Глаз ревнивых взгляд сторожкий.
За царицею красивой
Вышел он, о них гадая,
И сказал ей: «Золотая!
Кто – те три угрюмых дива?»
И ответила Олона:
«Мне они мужьями были.
Их уста мои любили,
Осчастлививало лоно».
И добавила с причудой,
Рот свой нежный усмехая:
«Хороши взяла меха я,
Платья выбрала не худо».
Той же ночью, жаркой, краткой,
Занемог стрелец прекрасный
Большою сладостною, страстной,
Знойной, юной лихорадкой.
Видел милое он тело,
Тело, белое, как пена...
А безжалостная Плена
На бессонный лик глядела.

Глава V

Всё идет своей чредою,
Как по верному гаданью:
За любовной скачет данью
Бог Зорива со стрелою.
Дни Медуна непокойны,
Дни Олонины тревожны,
И глядят они на ножны,
Хоть и слуху нет про войны.
Стали тягостней, короче
Неизбежные их встречи,
Стали спорчивее речи
И разгарчивее очи.
Но она же миловала
Кудри черные украдкой,
Целовал тайком он сладко
Край цветного покрывала...
А кругом гуляло лето,
Сыто желтым, пряным злаком,

Пьяно красным, сонным маком,
В голубой тростник одето.
Стало в пущах больше ягод,
Синих, розовых и черных,
А в жилищах приозерных —
И веселостей, и тягот.
Стало вод прозрачных меньше:
Наводнили их купавки.
Стали шалы, словно мавки,
Толпы вольных дивьих женщин!
И Олона изменилась —
Наряжалась, притиралась,
Прогнала из черт усталость,
А из поступи – унылость.
На заре в опочивальне
Уж гостила дружка Йинка,
Вся кругла, как жемчужинка,
С ликом зернышка овальной.
Приносила ворох хмеля
И указывала на лес, —
И взволнованно смеялись,
И застенчиво краснели.
На закате же в светлице
Уж гостила бабка Ула,
Как валун большой, сутула,
А лицом темней землицы.
Приносила уйму зелий
И указывала на лес, —
И таинственно шептались,
И угадчиво немели.
Вот однажды, с белой башни,
Где злаченные перила,
В ширь Олона взор вперила,
Молвя с грустью не всегдашней:
«О, Медун, завтра бойся
Оставлять мои палаты!
В заповедный бор заклятый
Даже в самый жар не кройся!»
И добавила Олона:
«Будет пляс там дикий, шумный,
Лошадиный скок безумный,
Ибо завтра – День Червлёный, —
Праздник меда собиранья,
А иначе – жен владенья,
Всех юнцов возьмут под тенью
Их хотенья, их игранья».
И пошла уж от Медуна
Горных ласточек невинной,
Вся в белеющей новине

Под косою золоторунной.
А завтра встал Медун уж,
Полон думою ревнивой:
«Иль, русин, я хуже дива?
Или я, Медун, не юньш?»
И в полдневный зной несносный
В бор пошел он заповедный,
Где, как рать, громадны, медны,
Вмиг его обстали сосны.
Средь алеющей поляны
Никли улы, пусты, сладки,
Вкруг легли сотов остатки
И с пахучим медом жбаны.
И Медун прилег на корни,
Опаленный, истомленный,
Прелесть белую Олоны
Вспоминая всё упорней.
Вдруг по смольной, вольной дали
Понеслося ржанье с гиком, —
И к нему в веселье диком
Жены конные помчали.
Гнулись к огненным кобылам,
Огневые вили гривы
И вопили: «В честь Зоривы
Ты ожги, ожги нас пылом!»
На телах – одежд обрывки,
А на лицах всех – личины,
Чтоб не ведали мужчины,
Кто – они, лихие дивки!
И божественные мухи —
Медуницы золотые
В космы их вплелись густые
Иль серьгой висели в ухе.
Сзади – юноши, все пеши,
Как рабы, все окруженны,
Еле шли, изнеможенны,
Словно их замучил леший.
Дружно женщины сомкнулись
Пред встревоженным Медуном
И за ним, прекрасным, юным,
Сотней рук уж потянулись.
Но глядел он исподлобья,
Он отталкивал те руки, —
И взялись они за луки,
Ухватилися за копья.
Не страшась, лишь негодуя,
Крикнул он: «Не быть полону!
Я люблю одну Олону
Я хочу лишь Золотую!»

С ней любовь моя и гибель!»
Под удар чело склонилось...
Но орда снялась и скрылась,
Саранче ль подобно, рыбе ль...
Лишь жена полунагая,
В кудрях, солнышка рыжее,
Вдруг к его прильнула шее,
Содрогаясь и вздыхая.
Бился юныш разгневленный
В тех кудрях, как в лисьих лапах,
Но узнал знакомый запах,
Тонкий, томный дух Олоны!
И, мужчиной став мгновенно,
Потянулся он всем телом,
Словно пламя, загорелым
К телу белому, как пена.
А она, личину сдвинув
С ослепительного лика,
Издавала три долгих клика
Заунывной лебединов!
А потом, светла, как утро,
Другу счастье подарила,
Тайну сладкую открыла,
Целомудренно и мудро...
Возле бор седой и хмарный
В завитом качался хмеле,
Все деревья пламенели,
Тек смолистый сок янтарный.
Дальше – озеро Лейяла
Ковш вздымало бирюзовый,
Влагой наполнило медовой, —
Их, сияя, поздравляло.
И сказал Медун счастливо:
«О, любимая! Взгляни-ка, —
Даль красна, как земляника.
Как сегодня всё красиво!»
И сказала та блаженно:
«О, любимый! Посмотри-ка, —
Высь синя, как голубика.
Всё сегодня несравненно!»
И в выси смеялась Плена,
Хохотал в дали Зорива,
Ибо знали, что красиво,
Что сегодня несравненно.

Глава VI

Кто считает, сколько бусин
В дорогой, дареной нитке?
Сколько капелек в напитке,
Если сладок он и вкусен?
Так они – Медун с Олоной
Дней счастливых не считали,
Но себя друг другу дали
И любили неуклонно.
Лишь одно она уж знала:
Это – друг ее последний.
Он: всей жизни долголетней
Для его любви мало!
Жили оба в отдаленье,
В упоенье и усладе,
Позабыв совсем о раде,
О войне и о правленьи.
Жили вместе, как супруги,
Так прожить хотели веки...
Да сердились человеки,
Уж завидовали други.
Раз придумала царица
На повозке золоченой,
Хлыст подняв разгоряченный,
Вместе с милым прокатиться.
В путевой одежде белой
К запряженным коням вышла
И, сама поправив дышло,
Рядом с другом полетела.
Утром розовым, прохладным
Вился, длился путь приятный
То равниной необъятной,
То нагорьем неоглядным.
Иногда из чащ ковыльных
Вылетал к ним чибис тонкий
И ширял наперегонки,
И скрывался в тучах пыльных.
Наконец, устали кони, —
И они присели в неге
Под кленовые побеги
На пологом росном склоне.
Был то край уединенный,
Жили тут лишь трясогузки, —
И Медун уж пояс узкий
Снял, играючи, с Олоны.
И она улыбке ярой
Уж сдалась со мглой во взорах.
Но вблизи раздался шорох,
И явился рыжий Згара.
Нес корзину он с плодами,

Солнца больше и червленей,
И, подав ее Олоне,
Молвил робкими устами:
«Ты возьми мой дар плодовый —
Он работой тяжелой добыт,
Но умерь мой горький ропот,
Полюби меня ты снова!»
И ответила царица:
«Разве любишься за сласти?
Разве есть возврат для страсти?
Что прошло, не повторится!»
И уехала со смехом.
А вослед по росам ранним
Згара брел, до крови раним
Тем былого счастья эхом.
После вздумала царица
На ладье посеребренной,
Вскинув парус окрыленный,
Вместе с милым поноситься.
Вышла на берег Лейялы
В платье темном, без запястий,
И, сама собравши снасти,
Рядом с другом в ширь помчала.
В вечер ветренный, румяный
Стлался, длился путь прекрасный
То по глади синей, ясной,
То по ряби бурной, рдяной.
Иногда между осокой
Выплывал бобер к ним бойкий
И показывал постройки,
И скрывался вновь глубоко.
Наконец они устали
И на берег мягкий, мглистый,
На песок жемчужный, чистый,
С детской радостью сбежали.
Это час был затемненный,
Лишь стрекозы их видали, —
И Медун ремень сандалий
Развязал уж у Олоны.
И она к груди упругой
Уж прижалась в волнение...
Но слышалось хрустенье,
И явился черный Уго.
Нес он чашу глины белой
В красках тонких и узорных,
Лучше всех купав озерных,
И сказал Олоне смело:
«Вот прими мой дар готовый —
Создал труд его искусный,

Но обрадуй взгляд мой грустный,
Полюби меня ты снова!»
И ответила царица:
«Разве любишься за вещи?
Разве зов судьбы не вещей?
Что прошло, не повторится!»
И уехала со смехом.
А вослед прибрежным краем
Уго шел, до слез терзаем
Тем былого счастья эхом.
А потом еще царица
Вместе с милым захотела
С высочайшей вышки белой
На просторы подивиться.
В золотой княжой хламиде
Шла она вдоль лестниц длинных,
Взяв сама всех яств долинных,
И взглянула, кверху выйдя.
Ночью лунною, зеленой
Открывался вид чудесный
На высокий свод небесный
И на край широкий, сонный...
Из-за облаков порою
К ним неслась звезда большая,
И сверкала, потешая,
И скрывалась, небо роя...
А как только утомились,
На ковер цветной, пушистый,
Возле утвари душистой,
В полусне они склонились.
Был покой то удаленный,
Здесь лишь кот мурлыкал, медля, —
И Медун златые петли
Отстегнул уж у Олоны.
И она в любовном праве
Уж к устам младым припала...
Но пронесся шелест малый,
И явился белый Славий.
Нес он гусли со струнами,
Волн светлей и полнозвонней,
И, приблизившись к Олоне,
Молвил тихими словами:
«О тебе с хвалой медовой
Я сложил свои былины.
Разгони ж мои морщины,
Полюби меня ты снова!»
И ответила царица:
«Разве любишься за песни?
Разве есть меня известней?

Что прошло, не повторится!»
И откинулась со смехом.
А по лестницам скрипучим
Славий брел, до боли мучим
Тем чужого счастья эхом.
Не боясь беды, измены,
Обнялись Медун с Олоной,
Окропленной, убеленной
Молоком лучистым Плены.
Только озеро Лейяла
Зыбью черною ходило,
Змей серебряных плодило, —
Их о зле предупреждало.

Глава VII

Нету времени лукавей,
Чем часы глубокой ночи!
Тщетно в них смыкали очи
Дивы – Згара, Уго, Славий.
И сошлись во тьме безлунной
На дворе золототынном
В свете призрачном лучинном
С гневной молвью про Медуна.
Тут воскликнул Згара рыжий:
«Ах, когда б я не был дивом,
То в бою бы пал ретивом
Тот, кого я ненавижу!»
Проронил тут Уго черный:
«Ах, когда б я не был дивом,
Став от сглаза шелудивым,
Впал в опалу б он позорно!»
И шепнул тут Славий белый:
«Я ж не буду вовсе дивом,
Коль в моем навете лживом
Не погибнет он всецело!»
И открыл он злые мысли,
Рассказал свои им козни.
Зашумело в ночи поздней
От речей его, от крыс ли...
Розовили после зори
Град-Лазурницы Большие,
Но пошли в нем дни иные
В сплетне, плутне и раздоре.
Полюбилась что-то Згаре
Воевода Волотая.
Смотрит он часами, тая,

Ей во взор, как сумрак, карий.
Чистит ей вооруженье —
Шлем, куяк и наголенник —
И покорно, словно пленник,
Повторяет все движенья.
И повадился вдруг Уго
Быть с судьей старшей Юлис.
Днями гнется он, сутулясь,
К голове, седой, как выюга.
Учит он ее реченья
О царе, народе, смерде,
Как преступник, ждущий смерти,
Внемлет ей без возраженья.
И зачем-то начал Славий
Знаться с главной жрицей Руей.
К пальцам бледным, словно струи,
Никнет он, ее лишь славя.
Верит всем ее гаданьям
По животным, звездам, пеплу.
Как больная, что ослепла,
Ждет вещаний с содроганьем.
А меж тем они все трое
В час закатный, в час рассветный,
Хлопотали незаметно,
Для Медуна яму роя.
Он же был веселья полон,
Розов, бодр от стоп до шеи.
Жил, в любви лишь хорошея,
Ибо дни близ милой вел он!
И еще свежей, моложе
Стала мудрая царица,
Но не знала, что творится,
Ибо нравилось ей ложе...
А кругом в шальном кочевье
Осень мчалась победно
И стрелою меткой, медной
Обаграла все деревья.
Налились и заалели
На рябинах горьких грозды,
И лесных орехов гнезда
Порудели и поспели.
В городище ж спели разом
Все напасти и тревоги.
Помогать не стали боги,
Потеряли люди разум.
Ожидался год голодный,
Надвигались вражьи вои,
Что же самое плохое —
Дивки сделались неплодны.

Сколько было пар веселых!
Да от чьих-нибудь заклятий
Нет от Плены благодати,
Нет меж женами тяжелых...
И однажды, в полдень знойный,
В миг, когда так тихо было,
Раздались удары в било,
Вески, резки, беспокойны.
И Олона побледнела,
Как при вести о несчастье,
Но в великом самовластье
Слабость сердца одолела.
Поцелуем голубиным
С милым юнышем простилась
И поспешно очутилась
На дворе серебротынном.
Там толклась толпа народа,
Там гудела буйно рада,
Безначальной воле рада,
Миговой пьяна свободой.
На помост взошла царица:
«Мир да лад, о дивья рада!
Что тебе, великой, надо?
Полевать? Молиться? Биться?»
И чего-то выжидая,
Стихло вдруг людское море.
А вперед, темна от горя,
Вышла с речью Вологая:
«Ты слюбилася с русином.
Как во тьме живешь волшебной.
Племя ж то для нас враждебно
И грозит уже вблизи нам!»
Снова море человечье
Зашумело, в страхе горбясь,
А вперед, желта от скорби,
С тихой Юлис вышла речью:
«Ты в любви ума лишилась,
И даришь свой стол мужчине.
Уж мужья смелеют ныне,
Наша воля сокрушилась!»
Снова стихло, что-то чуя,
Море женщин справа, слева.
А вперед, черна от гнева,
Вышла с громкой речью Руя:
«Ты побрачилась с бездетным.
Служишь Плене неугодно.
Вся страна уже бесплодна.
В том супруг твой даст ответ нам!
Грех ты свой тогда замолишь,

Если в жертву дашь Медуна.
Он – красивый, чистый, юный.
Нужно нам его, его лишь!»
Завопила рада: «Мати!
Помоги отвести беду нам
И пожалуй нас Медуном
Завтра к празднику зачатий!»
Содрогнулась Олона
И не вдруг уразумела,
Стала вся, как холм из мела,
Огляделась изумленно...
Увидала под ногами
Город милый свой, любимый,
Уж теперь не боронимый
Ни царицей, ни богами.
Тихо молвила: «О дети!
Рвите сердце мне на части!
Чтоб укрыть вас от несчастий,
Дам я лучшее на свете...»
И пошла в свои хоромы,
И шаталась, идучи.
Бог Зорива скрылся в тучи,
Бог Ратгаст готовил громы.

Глава VIII

Хорошо вражду залить бы
Золотой водою грозной!
На беду уж было поздно —
Взволновалась вся селитьба.
Тщетно били камни градин,
Напрягались луки радуг:
Всё велик был беспорядок,
Крик и гомон был громаден.
Хоть окончилась рада,
Продолжалось оживленье —
Ибо шли приготвленья
Для кровавого обряда.
Лишь на башне древней, белой,
Тихо смертью возвещенной,
Льнет к хламиде позлащенной
Плащ мужской поголубелый.
Ах, идет там расставаньё!
Говор там идет грустящий,
Словно бисер шелестящий,
Словно зегзиц кукованье.
Вопрошает так Олона:

«Как могло всё это случиться?
Ты – милей мне сына, братца,
Ты – мой жданный и молённый!»
А Медун ей отвечает:
«Не горюй: так, видно, надо.
Лишь разлука горче яда.
Смерть меня не удручает».
Вопрошает вновь Олона:
«Без тебя как жить я стану?
К неживому кинусь стану
И сама умру без стога».
А Медун ей отвечает:
«Не печалься: будем вместе.
Как жених, явлюсь к невесте.
У русинов каждый чаёт».
Вопрошает вновь Олона:
«Как же будет то возможно?
Не томи надеждой ложной!
Ты погибнешь, умерщвленный».
А Медун ей отвечает:
«Не грусти: уж я на тризне
Возвращусь к новой жизни.
В этом жрец нас поучает».
И открыл, что жил, не веря
В Плену, Реку и Раггаста —
Проклиная втайне часто
Всех богов их, злых, как звери!
И что есть один лишь правый
Бог, подобный их Зориве,
Но добрей, мудрей, красивей,
Синеглазый, русоглавый.
Показал ей знак нагрудный, —
Перекрещенный, злаченный,
И, обнявшись с Олоной,
Замер в думчивости чудной.
Ниже – озеро Лейяла
Золотым венком свивалось,
Алой лентою вязалось, —
Их красою утешало.
Дальше горы Загадули
В пышных купях багрянели,
В желтых клубках пламенели, —
И Олону ввысь тянули.
Встала вдруг она, прямяся,
Светлым оком в небе канув:
«Будет верить в истуканов,
Что стоят на крови, мясе!
Твой же Бог золотосердный
И моим да будет богом.

Дай мне знак его залогом
Нашей брачности бессмертной!»
Встал Медун: «Тебе дарю я,
Что не дал бы иноверцу...»
И прижал ее он к сердцу,
Подарил ей крест, целуя.
Так на вышке белобровной
Всю ту ночь Медун с Олоной
Протаились влюбленно,
Прошептались любовно.
А пред солнечным восходом
Раздались внизу бляенья,
Восклицанья и бряцанья
С плясовым тяжелым ходом.
И сказала тут Олона:
«Собрался народ зарано,
Ибо нынче День Багряный,
Не Зеленый! Не Червлёный!
Праздник плода сбереганья,
Материнского зачатья.
Ах! должна тебя отдать я...
Ах! убьет тебя закланье...»
И пошла за милым, воя
Дольних иволог несчастней,
Вся в суровеющем красне
Под косою огневою.
А внизу – в народном шуме
Жрицы кликали, кружились
И кинжалами язвились,
Полны яростных безумий.
На плечах зияли раны,
А в перстах гремели бубны.
Вслед, серебряны и крупны,
Шли священные бараны.
Их вели, как полагалось,
Дивьи маленькие дети,
Но, глядя на раны эти,
Там и сям дитя пугалось.
И влеклись, безмерно горды,
Плач их грудью утишая,
Взгляд серьгою утешая,
Матерей нарядных орды.
Впереди, страшна собою,
В исступлении пророча,
Новым ужасом мороча,
Мчалась Руя пред толпою...
И Медуна вдруг схватила,
Повлекла на холм пологий,
Где стояли кругом боги,

Облиты зарею с тыла,
Обвила она веревкой
Юных рук резные кисти,
Юный стан, луча златистей,
Повалила навзничь ловко
И над жертвою прекрасной
Занесла с улыбкой лютой
Нож, луною изогнутый,
Что мгновенно стала красной...
Всё дивейство ниц упало
И лежало оробело,
А из шеи белой, белой,
Ток сочился алый, алый...
Из-за серых, бурых взгорий
Уж спешил стрелец небесный,
Но кружил во мгле окрестной
Женский клетот: «Горе! Горе!»
И толпа вдруг увидала,
Содрогаясь, отбегая,
Что Олона Золотая
Вдруг серебряною стала.
Застонал тут, каясь, Згара:
«Что мне в том, что он погублен?
Он Олоной не разлюблен...
Охлажденье – злей нет кары!»
Взвыл, отчаиваясь, Уго:
«Что мне в том, что стал он тленен?
Для нее он неизменен...
Ревность – хуже нет недуга!»
Но, грозясь, хихикнул Славий:
«Уж теперь не будут вместе.
Нет утехи слаще мести!»
И кружился пса вертлявей.
А меж тем с пустого жрища
Труп Медуна тихо взяли
И на снежном покрывале
Уносили в городище.
Выси все поголубели,
Веси розовыми стали,
Травы ж никли, повядали,
Птицы вились, но не пели.
И заплакал сам Зорива
Разливной росой соленой
Над серебряной Олоной,
Над Олоной несчастливой.

Глава IX

Кто прожить желает мудро,
Пусть во всем благое видит!
Облак тает – солнце выйдет,
Звезды гаснут – встанет утро!
Сгиб Медун-Стрелец Прекрасный,
Вот лежит он нем, недвижим,
Но с Олоной больше сближен
Силой вечности всевластной.
Дни идут – он спит глубоко,
К ней на ложе вознесенный,
А она, и в ночь бессонна,
Не спускает с друга ока.
При вторых и третьих певнях
Всё Олона над Медуном,
С ликом белым, вечно-юным,
В серебристых косах древних.
Обняла его, прильнула:
«Приходи за мной, о милый!»
И пугливы, и унылы,
Ей внимают Йинка с Улой.
Сжег закат костер четвертый,
День лежит Медун уж пятый
Средь малиновой палаты,
Молодой, прекрасный, мертвый.
И явились с нежным пеньем
Все дивейские невесты
Проводить его до места,
Что избралось погребеньем.
В вечер лунный и туманный,
Шли они с ветвями ивы
Вширь, где все почили дивы,
Вдаль, где круглые курганы.
А придя на возвышенья,
Над костром неопаленным
Положили прах с поклоном,
Лук его и украшенья.
Привели коня Медуна
В вороненой лучшей сбруе,
И столпились возле Руи,
Белизной омыты лунной.
Тут, пройдя по дымным росам,
Кто-то с девами встал рядом.
Жрица ж, верная обрядам,
Обратилась к ним с вопросом:
«Нет ли здесь Медуны милой,

Что желала б несмущенно
Заодно с ним быть сожженной,
Под одной с ним лечь могилой?»
«Есть», – ответил голос чистый,
И блаженный, и печальный,
Как струя, был он хрустальный,
Как струна, был серебристый.
И прекрасна, непреклонна,
Из толпы немой и тесной,
Надевая вьюн невестный,
Вышла вдруг сама Олона.
Весь народ от страха прынул,
Весь народ от горя охнул,
Словно город дивий дрогнул,
Дивий род под землю канул.
Завопили: «Мать родная!
Ты почто нас оставляешь?
На кого нас покидаешь,
Золотая! Золотая!»
Громко крикнула: «О други!
Я служила вам довольно.
Дайте ж мне вздохнуть уж вольно...
Отдохну я при супруге.
Ты прости, народ мой женский,
Дорогой народ дивейский!
Береги свой строй житейский!
Покори весь мир вселенский!»
Трижды в ноги поклонилась
Да четырежды лишь в пояс,
Не боясь, не беспокоясь,
Бить огонь распорядилась.
И заискрилось огниво,
И кострище запылало,
Голубо, желто и ало,
Как павлин большой, красиво!
К птице жгучей, яркокрылой,
Уж приблизилась Олона,
Но вскричала просветленно:
«Ты пришел за мной, о милый!
Радость! Мы – не иноверцы.
Мы вовеки вместе будем!...»
Провела рукой по грудям,
Ухватила за сердце,
Гибко на землю склонилась
И с улыбкою скончалась.
Тут во всех вонзилась жалость,
И объяла всех унылость.
Это стон, степная выпь ли?
Это рев, лесные ль вепри?

Нет, то – люди с эхом дебрей
Так рыдали, словно гибли!
И отчизну Згара кинул —
За грядой он скрылся горной.
Утопился Уго черный —
Он в родной Лейяле сгинул.
Посчитался с Руей Славий —
Кто из них всему виною?
Кончил с ней он головнею,
С ним она – резцом в оправе.
И смутилась думой Юлис,
Пала духом Волотая,
Но крепились, наблюдая,
Чтобы толпы не рехнулись.
Трупы рядом положили,
Довершили их сожженье,
И возникло возвышенье
Золотисто-серой пыли
С узким глиняным сосудом
На вершине округленной,
На котором вьюн Олоны
Уцелел каким-то чудом.
А потом великим пиром
На насыпанной могиле
Память тех, что в ней почили,
Всем дивейским чтили миром.
Дивки, ночи старше, пили
Меда огненные чаши,
Дивки, звезд юней и краше,
Коло пестрое водили.
И сказала там, на тризне,
Подымаясь, бабка Ула
Громче вихорного гула:
«За Олону мед мой брызни!
Ибо нету и не будет
На земле цариц добрее
И мудрее, и храбрее.
Мир Олону не забудет.
А теперь сидит Олона
На лазоревом царенье,
Там, где слепнет наше зренье —
За луной оголублинной!»
И сказала там же, в коло,
Запевая, дружка Йинка,
Тонкозвучней, чем тростинка:
«Об Олоне пой, мой голос!
Ибо нету и не станет
На земле жены прекрасней,
И нежней ее, и страстней.

Об Олоне мир вспомянет.
А теперь живет Олона
Со своим Медуном милым
Там, где быть нам не по силам —
За зарей орозовленной!»
Так справлялися поминки
Между стариц и красавиц,
Между шумных, умных здравиц
Бабки-Улы, дружки-Йинки.
Нежно брезжил день предзимний,
Гордо граял черный ворон.
Зеленее край стал, оран,
Городище стало дымней.
Впереди – курились дали,
Золотились Загадули,
Птицы тихие тянули,
Чтоб запеть и не гадали.
Только озеро Лейяла
Перламутром стлалось в русле,
В вырезные било гусли —
Обо всем нам рассказало.
Так пускай, как горлиц вертел,
Зло влюбленных погубило —
Эта песнь их оживила,
Этот сказ их обессмертил!

1914

Москва

ЛЕБЕДИНАЯ РОДИНА

Глава I

I

Зимою, Вологодским краем,
Седым, болотисто-лесистым,
Возок тащился, увлекаем
Конем соловым, нерысистым.
Был день морозный и алмазный,
А путь – атласный и хрущатый.
Как голубь, грустно, глуховато
Гурлил бубенчик неотвязный.
В возке сидели: стражник сильный
С заиндевелой бородой
И под дохой оленьей – ссыльный,
Угрюмый, бледный, молодой.

II

Его не радовали дали
Страны неведомой родимой,
Где, розовея, улетали
Дремучих деревенок дымы,
Где боры хвойные гудели
Домровым старострунным гудом
И сахарным слоистым спудом
Поля подснежные блестели,
Где векши, легки, пышношерсты,
Одни встречались ему
И вешки гибкие, как версты,
Вели сквозь мхи, и мглу, и тьму...

III

В нем тихо бунтовали думы:
Как? Из свободы в заточенье?
Как? После зал шумливых Думы
В немое темное селенье?

И он, свои крутые брови
При виде снежных пустош хмуря,
В их блеске взор свой черный жмуря,
Закутывался в мех суровой.
И только локон ярко-рыжий,
Ездой отвеян, трепетал...
Но пункт назначенный всё ближе,
Возок всё тише, тише... Встал.

IV

И ссыльный, воротник откинув,
С усмешкой горькой огляделся:
Из-за окольных частых тынов
Поселок северный виднелся —
Ворота, избы и верей,
Крыльца, повети и оконца
В сосульках, инее и солнце...
Здесь серебрясь, а там серея,
Как город Леденец досюльный,
Он стыл жемчужно-слодяным,
И голубела главкой дульной
Церквушка древняя над ним.

V

Кругом же – то взмывая круто,
То заворачиваясь слабо,
Грядую плыли изогнутой
Снегов увалы и ухабы.
Так, вскинув крылья, выгнув шею,
Огромная лебязья стая
Плывет, и брызгами блистая,
И оперением белея...
И, может быть, Царевна-Лебедь
Сейчас объявится среди них, —
Присушит, приманит, прилепит
И увлечет от всех живых?!

VI

На миг сменила греза думу...

Но с ямщиком завздорил стражник:
«Куда везти? Да к Аввакуму!
Хоть старовер – зато не бражник».
И вот уж сани – перед домом,
Бревенчатым, крепковенечным,
С крестом в дверях восьмиконечным, —
Подобным сказочным хоромам!
Резной, точеный верхний ярус
Под острой крышей тесовой
Еще был убран в снежный гарус,
Украшен фольгой ледяной.

VII

И там, в окне, случайным взглядом
Наш путник женский лик заметил,
Что, как икона под окладом,
Был дивно-строг и чудно-светел.
Из-под платка, как из убруса,
Синели очи, словно море,
Уста алели, словно зори,
Струились косы нивой русой...
В морозных кружевах, бахромах
Вверху сиял волшебный лик!
Внизу ж, как вешний сад черемух,
Ольшаник побелевший ник...

VIII

Они вошли. Сначала в сенцы,
В большую горницу оттуда.
Здесь рдели в прошвах полотенца,
Цвела поливою посуда,
Стояли с розаном укладки,
Лежала скатерть с васильками,
В углу с живыми огоньками
Висели алые лампадки.
Там, с темного письма иконы,
Из складня древнего, как Русь,
Глядели с грозностью исконной
Никола, Спас и Деисус.

IX

На всё то, шубу сняв у двери,
Приезжий, к мистике не склонный
И чуждый вер и суеверий,
Смотрел с насмешкой удивленной.
Его дивил тут воздух жаркий
С сладким запахом ковриги,
И толстые, в застёжках, книги,
И тонких, желтых свеч огарки,
И старый, сумрачный хозяин,
В поддевке, с сивой бородой,
Что, словно идол, в пне изваян,
Стоял – кряжистый и прямой.

X

Тот долго, в спорах неустанен,
Принять жильца не соглашался:
Табашник, щепотник, мирянин...
Погубит душу, кто с ним знался!
А стражник умолял, грозился,
Шептал, что гость его – богатый
И князь... Наверно, тароватый!
И наконец старик смирился.
Но, заглядысь на свет угольный,
Усольцев спорам не внимал
И так под кров свой подневольный
Вступил, рассеян и устал.

XI

Он был могучий и мятежный, —
Тот русский, что, как дикий кречет,
Ширяет к грани зарубежной,
В чужие гнезда взоры мечет!
Он бредил юною порою
Любовью пламенной стихийной,
Потом – работою партийной
И политической борьбою.
И вот за дорогое дело,
Кляня лукавую судьбу,

От колоннады Думской белой
Попал в крестьянскую избу.

XII

И началась жизнь иная
Здесь в чистой и пустой светлице —
Без папирос, газет и чая, —
Но чудная, как небылицы!
Все дни светлы, как день единый!
В окне – лишь небо да сугробы,
Что хлебы пышной нежной сдобы,
Да серебристые рябины...
Мелькнет лазурный хвост сорочий
Иль беличий златистый хвост —
И день прошел... А ночи, ночи!
Все в гроздах крупных бледных звезд.

XIII

Все дни светлы, как день единый!
К колодцу ходит Василиса
С склоненной шеей лебединой
И с мягкою походкой лиса.
А в розовый морозный вечер
Справляет службу, псалм читая,
Подручник пестрый расстилая
И тепля золотые свечи.
Творит начал, метанья, отпуск...
И видится в дверях порой
Платок, повязанный на роспуск,
Иль черный сарафан с каймой.

XIV

Великодушный, откровенный,
Со староверами своими
Борис сдружился постепенно —
Беседовал, работал с ними.
Ему уж нравились обряды
Их веры вековой уставной,
Старинной жизни ход исправный,

Былые плавные наряды...
И, вольнодумец! брал Псалтирь он
И Апокалипсис читал,
Где синеперый реял Сирин,
Где алый Алконост витал.

XV

Любил он промысел их сканный
С посеребреньем, позолотой, —
Солонки, ларчики, стаканы
Сквозной финифтяной работы.
Любил, как пахнет ладан росный,
Как пахнет розовое масло,
Лампаду, что в углу не гасла,
Обед обильный, вкусный, постный.
Врозь ел и пил он постоянно,
И, по привычке не крестясь,
С крестовой ложкой деревянной
Садился всё же кушать князь.

XVI

Он не скучал. Живой и пылкий,
Здесь, близ земли, в уединенье,
Охотничьей старинной жилки
Почувствовал он пробужденье.
На лыжах липовых скрипящих,
Со старой ржавой одностволкой,
Он под зеленой хвоей колкой
Блуждал в душистых, мшистых чащах.
Следил седых, косых зайчишек
В излогах прихотливый бег
И розовых смолистых шишек
Паденье мягкое на снег.

XVII

Он понял родины красоты
И любовался с гор и скатов
В который раз! быть может, в сотый
Явленьем пасолнц и закатов:

Игранием столбов багровых,
И настов зыбью голубою,
И изумрудной городьбою
Лесов еловых и кедровых.
В красе той белой лебединой
Он понял женские черты
И нес в ложбины и долины
Мужские смелые мечты!

XVIII

Постигнул душу он природы:
Медвежью лень и ум барсучий,
Крота таинственные ходы
И короеда путь ползучий.
Постиг он всякий голос птичий —
Призыв любовный и тревожный,
И постук дятла осторожный,
И домовитый свист синичий.
В повадке куньей иль собольей
Девичью прелесть видел он
И шел через луга и поле,
Неведомо в кого влюблен.

XIX

Но дома помысл всё упорней
Влекла-манила Василиса.
Любовь росла, пускала корни
В душе испытанной Бориса.
Он не кончал страницы писем,
Когда она, оконца мимо,
Шла, недоступна, несмутима, —
И вслед глядел, пленен, зависим...
Стучал сапфирною печаткой
На крупном родовом кольце
И грезил с болью странной, сладкой
О страшном и святом лице.

Глава II

I

Усольцев был происхождением
Из старо-княжеского рода,
Чье древо с пышным разветвленьем
Генеалог чертил три года.
Тот род был славный и богатый,
Имевший встарь владений область,
Пожалованную за доблесть,
Но странную судьбой чреватый.
В семейных блекнувших архивах
Хранился роковой их герб:
На синем поле в желтых свивах
Скрещались копье и серп.

II

И дед один, боец блестящий
Очакова и Измаила,
Покинул Двор, его клеймящий
За связь с донской казачкой милой.
Другой же дед, герой суровый
Бородина, Аустерлица,
В отставку вышел, чтоб жениться
На девушке своей дворовой.
Их имена остались громки,
Забвенью жизни предались...
О том старались все потомки,
Но вспомнил их теперь Борис.

III

Он унаследовал от дедов
Их золотисто-рыжий волос,
Нрав воинов и непоседов,
Высокий ум и низкий голос.
Легко он кончил курс лицейский,
Прекрасно – университетский,
Но скоро бросил круг свой светский

И рано – важный чин судейский.
Любил он женщин... Но, как деву,
Одну свободу он любил!
За вольный Лондон и Женеву
Россию смирную забыл.

IV

И вот она – в окне! У двери!
Еще чудесней и неожиданней:
Не грубых лишь полна поверий,
Не жутких горевых преданий,
А полная глубинной верой,
Невидным делом, скрытым смыслом,
То со свечой, то с коромыслом,
То с книгой, то с яблок мерой...
Ах, эти косы русой пряжи,
Что до полу, струясь, висят!
И стан невиданно-лебяжий,
И несказанно-синий взгляд!

V

Сияла северная полночь,
Глубокая и голубая.
По небу плавал месяц полный,
Черпак молочный проливая...
Лежала тень черно и четко,
Дрожала тишь мертво и звонко,
Лишь легкий храп вздыхал за тонкой
Филенчатой перегородкой.
Там спали: на больших дощатых
Кроватях в пологах цветных
И на лежанках израцатых,
В перинах, думках пуховых.

VI

Борис не спал. Из дряхлых кресел,
Из маленьких и душных комнат
Глядел в студёный сад... И грезил
О тех, что ждут его и помнят.

Он получил письмо от Леи
И быть сейчас хотел бы с тою,
Кого считал своей женою,
С кем жил, одну мечту лелея.
Он вспомнил тонкий нос с горбинкой,
Кудрявый мрак волос ее, —
И только. Словно паутинкой,
Весь лик заткало забытье...

VII

Зато пришли на память ныне
Крестьянка та и та казачка —
Две сарафанницы-княгини...
Он грезил... Вдруг былой заплачкой,
Старинной песней причитальной
Заслышалось среди молчанья
Глухое девичье рыданье
Из горницы хозяйской дальней!
Тогда, по переходцам крытым,
По лестничкам то вверх, то вниз,
По клетям, рухлядью набитым,
Пошел на голос тот Борис.

VII

В холодной, темной боковуше,
Где встали рундуки с ларями,
Полны мукой, сушеной грушей,
Полотнами и янтарями,
Где приторно и нежно пахло
Изюмом голубым кувшинным,
А жолкнувшим по связкам длинным
Грибом – остро, немножко затхло,
Где мыш проворная иль крыса
Шуршала громко в уголке, —
Рыдала тихо Василиса,
Полулежа на сундуке.

IX

А в мерзлое оконце лились

Лучи светло, похолодало,
На стеклах тонко серебрились
Лебяжьих перьев опахала.
Блистал сроненных четок бисер,
И жесь на сундуке сверкала,
А девушка в слезах сияла, —
И князь к ней твердый шаг приблизил.
На белой выющейся овчине
Бок о бок сев и взор во взор,
В порыве – он, она – в кручине,
Свели душевный разговор:

Х

Борис

Что вы не спите, Василиса?
О чем здесь плачете? Скажите...

Василиса

Ох, княже... Не о горстке риса
Пропавшей, не о сгнившем жите! —
О юности своей невместной,
О красоте своей никчемной...
Да скорбь моя тебе неизвестна!
Мое печалованье темно!

Борис

Откройтесь! Мне понятно будет:
Как вы, обижен я судьбой.

Василиса

Ой, выскажусь, коль сердце нудит!
Не потаюсь перед тобой...
Житье мое, голубчик, скушно,
Как вековуши, перестарка...
В моленной день-деньской так душно!
Ночь-ноченскую в спальне жарко!
Справляешь утрени, вечерни,
Ослопные вставляешь свечи
Да зришь – головушку Предтечи
Иль Спасов лик в венце из терний...
До жизни ль тут? До счастья ль нам уж?
Соблазн! О смерти мыслю я!..

Борис

Постой! Полюбишь – выйдешь замуж!

Василиса

И думать – грех! Я – молея.

Борис

Так что ж?

Василиса

Раскольничьим заветом
Вторая дочь судится Богу.
И мне родители обетом
Ту с детства выбрали дорогу.
За них молельщицей готовой,
Читалкою и головщицей
Должна я жить – и не миршиться,
И быть Невестой лишь Христовой.
Я ль старины сменю обычай?
Я ль клятву батюшки нарушу?
Нет! Свековать мне век девичий!
Спасенницей спасти их души!

XI

Но как мне ране было трудно
Блюстись супрядок и гулянок!
Зимой не знать игры подблюдной,
Весной не петь, как все, веснянок!
Не вить вьюнов в Семик зеленый,
На Аграфену – не купаться,
Читать Четьи-Минеи, святцы,
Стихиры петь да бить поклоны!
На сестриной веселой свадьбе
Смущал меня блудливый бес, —
И не могла я быть в усадьбе —
Бежала плакать в синий лес...

XII

А ныне я – уж уставщица —
Опора Спасова согласна.
Забыла, как в шелка рядиться,
Забыла вкус сластей и мяса.
Но нет на мне перста Господня! —
Когда так ночи распрекрасны,
Окатын месяц, звезды рясны,
И сон тревожен, как сегодня —

Захочется мирского счастья,
Любви, покуда молода, —
И убежала б из согласья
Я в белый бор, как и тогда!

XIII

Борис

Туда бия пошел с тобою...
О, милая, тебя люблю я!
Тебя б я нес лесной тропюю,
Голубя, нежа и милуя...
Унес бы я тебя далече...
Над нами б – голубела елка,
Метели пели... Очи волка
Горели б, как святые свечи...
Я стал бы витязь твой влюбленный,
И никогда бы, видит Бог!
Твоею красотой мудреной
Упиться вдоволь я не мог!

XIV

Василиса

Молчи. Мне слушать то негоже!

Борис

Иль всё во мне тебе немило?

Василиса

Нет... Ты – на солнышко похожий,
Рудой и нежный, как Ярило!
И гордые такие взгляды...
И белые такие руки...
Для нас бы не было разлуки!
Конца б не виделось услады!
Но ты...

Борис

Я не был бы любовник:
Я был бы твой любимый муж!

Василиса

Уйди. Ты – щепотник, церковник
И государев враг – к тому ж!

XV

Он не ушел. Но жизни бури
Поведал ей, во всем доверясь...
Как с медом рог злаченный турий,
Уж гнулся луч... Как конь иль ферязь
На пестрой шахматной тавлее,
По белой движась половице,
Уж тени начали ложиться
Всё вычурней и лиловее...
Он говорил про все недуги,
Какими родина больна,
И с пониманием подруги
Его прослушала она.

XVI

Так между них возникла близость.
Чуть утрело, в светелке малой,
Где стлалась розовость и сизость,
Он был. Она не прогоняла.
И, вышивая нако модник
Иль кружево плетя искусно,
Рассказывала плавно, грустно,
Как спасся старец, жил угодник...
Она была что птица Сирий
С сладчайшим пеньем алых уст!
И князь узнал, что молвил Сирий,
Что проповедал Златоуст.

XVII

Узнал он в этих сизых утрах
Из Василисиных сказаний,
Всегда простых, всегда премудрых,
Тьму нашептов, примет, гаданий...
Узнал про папороть волшебный,
Про спрыг-траву, что рвет оковы,
Про архилин, что вержет злого,
Про цвет любовный, цвет лечебный...
Узнал... И о своей природе

Стал мыслить глубже и нежней
И выше, лучше – о народе,
Что так красиво мнил о ней.

XVIII

А деве сделались известны
Его рассказы путевые,
Что, как апокрифы чудесны,
Являли ей края чужие, —
Где снежно-розовые горы,
А небо густо-голубое,
Иные люди, всё – иное:
Слова, и нравы, и уборы...
Где зреет виноград – не клюква,
Не ель, а кипарис растет,
Где и дитя знает буквы,
И бедный правду узнает!

XIX

Ей чудились в его исканье
Паломничьи мечты, надежды...
Порой среди повествованья,
Подняв бахромчатые вежды,
Оголубленный, углубленный, —
Прекрасный взор ее в волненье
В его вливался на мгновенье
Самозабвенно и влюбленно...
Плелись узоры на рогульки,
Стежки ложились по шитью, —
И было хорошо, как в люльке,
Светло и свято, как в раю!

XX

Но иногда вдруг некий демон
Овладевал душой Бориса:
Всё клял и возмущался всем он —
Собой, отчизной, Василисой!
Он говорил: «Блуждал я много —
Близ туч летал, в пучинах плавал, —
И вижу, что сильнее дьявол
В стране, что крепче верит в Бога!
Какой-то дух лихой и косный,

Какой-то зимний змеевик
Околдовал здесь дев, и весны,
И мысль, и руки, и язык!

XXI

О сонное ночное царство!
К чему героев непокорство?
Здесь каются и без бунтарства,
Постытся и при корке черствой!
А изуверство, самовластье
Здесь губят молодость и прелесть, —
И, как сердца б ни разгорелись,
Здесь невозможны радость, счастье...
Проклятье! Есть ли королевич,
Что злого змия б одолел?
И власть – чтоб лик твой, мудр и девич,
Мне улыбнуться захотел?!»

XXII

И, кудри яркие ероша,
Метался в горенке он узкой
С усмешкой бледной, нехорошей
Над тьмою женской, тьмою русской...
Иль, губы алые кусая,
Над девушкой склонялся в муке —
Ловил в порыве диком руки,
Засматривал с тоской в глаза ей...
И жег огонь страстной и страстный
Тех широко раскрытых глаз,
И струйка крови темно-красной
С руки уколотой лилась!

Глава III

I

О Вологодский край пустынный
С красой святой и чародейной!
К тебе тропины и путины

Завихрил ветер снеговойный...
Твои серебряные села,
Похороненные в сугробы,
Хранят еще свой быт особый
Порой рабочей и веселой.
Твой люд живет с станком и донцем,
Держа рубанок и утюг, —
И покланяется пред солнцем!
И чтит Великий свой Устюг!

II

Зима кончалась. Шли гулянья
Широкой Масляной Недели:
Обжорные пиры, катанья,
Ряженье и игра в сопели.
Мороз звенел, заносы кучил,
Но солнце грело всё любовней...
Везли ему навстречу дровни
Ржаные копна вешних чучел!
Загавливались староверы
И, цельные в житье-бытье,
Не знали удержу и меры
Ни в богомолье, ни в питье.

III

Семья большая Аввакума
Во всем ему повиновалась:
Чтоб и работалось без шума,
И без помехи отдыхалось.
Две дочери уж с рук сбылися,
Другие две лишь подрастали,
И не было забот, печали
О вековухе Василисе.
Ее глава старел спокойно
И лишь в ночи, лежа без снов,
Вздыхал о том, что, недостойный,
От Бога не имел сынов.

IV

Он слыл за старца-многодума,
За столп могучий староверский,
И уважали Аввакума
На Керженце и в Белозерске.
К нему езжали-вопрошали,
Достаточно ль распев демествен,
И Спас одно– иль двуестествен,
И нет соблазна ли в кружале?
Но в праздник он, указчик старый,
Грехом не почитал разгул —
И упивался брагой ярой,
И песни хмельные тянул!

V

Теперь в избе у Аввакума
Сидел родной и посторонний:
Соседи, зятя два, три кума,
Сильван начетчик, поп Софроний.
Там кудри, бороды, бородки
Вились, черны, рыжи и седы,
Велись сердечные беседы,
Разымчивые пились водки,
И елись с сковород, руками,
Блины, красны и велики,
С припеком – груздями, снетками,
Пшеничной, гречневой муки.

VI

Усольцев, слыша шум застольный,
Ходил, хандрил, почти жалея
О жизни городской и вольной,
О верной и покорной Лее...
И призрак Петербурга близкий
Рисунком туши и графита,
Рельефом кварца и гранита —
Его мосты и обелиски,
Дворец, трибуны, раздевальни —
Предстал отчетливо пред ним, —
И призрак Петербурга дальний
Ему явился неродным!

VII

И образ женщины любимой,
Как бюст из хрупкого фарфора,
Как акварели неценной
Эскиз, поблекший слишком скоро, —
Ее нестройные наряды
И кудри, жесткие от стрижки,
И умные, сухие книжки,
И резкие слепые взгляды —
Сужденья о стране родимой —
Проплыл туманно перед ним...
И образ женщины любимой
Вдруг сделался ему чужим!

VIII

Смеркалось. В стекла бились звонко
Искристо-льдыстых комьев брызги
От троек, мчащих перегонкой,
И нежные девичьи визги.
Скакали кони с лентой в гривах,
Зеленой, алой, желтой, синей,
И парни в шутовской личине
На лицах красных и красивых.
И переливные сосульки
Ломались, падая с конька,
И звезд блестящие бирюльки
Ловили в небе облака.

IX

Попили гости, пошумели —
И разошлись. Сильван Иваныч,
По темноте иль по метели
Домой нейдя, остался на ночь.
Утихло всё. Лишь Василиса,
Раздевшись, гнула стан лебяжий,
Расчесывая косы глаже
И грезя томно про Бориса.
Дверь скрипнула. И вдруг мужская
Рука зажала ей уста,

Прильнула к грудям вороная
И колющая борода...

X

То был начетчик. Опыяненный,
Весь терпко пахнувший настойкой,
Склонял он взор свой замутненный
Над девушкой стройной, стойкой.
Шептал ей: «Мне с тобою, родной,
От Бога плотский грех дозволен...
И несть греха, коли замолен...
Паденье ж Господу угодно!»
Но белой сильною рукою
Она его толкнула вон
И молвила себе с тоскою:
«Ин! Пусть берет другой – не он!»

XI

Раскинув кудри огневые
И разметавшись на кровати,
Князь спал и видел сны златые...
Как вдруг среди снившихся объятий
Очнулся. Сон прелестный длится! —
Уста целуют и алеют,
Милуют руки и белеют,
И слезами кропят ресницы...
О, как он бережно и нежно
Ее признал! Ее привлек!
И в край безгрешный и безбрежный
Вступил с ней, строгой, тих и строг...

XII

Но не без мук, не без борений
Далось то счастье Василисе, —
И было много в ней сомнений,
Когда они уже сошлись.
Все дни она, себя тем мая,
Канон Святителю Николе,
Кого особо чтут в расколе,

Читала, лестовку сжимая.
Молитвовала, плача, каясь,
Понять свершенное темна...
А ночью, ластясь и ласкаясь,
Всё понимала, влюблена!

XIII

Тогда Борис глядит ей в очи!
Тогда Борис ей косы гладит,
Шепча всё жарче, крепче, кротче,
Что будет жить он так, как прадед:
С ней неприметной, неученой,
Да Василисою премудрой,
Голубоокой, русокудрой,
Он примет злат-венец законный...
Алеет свет лампадки зыбкий,
Пречистый Спас глядит светло, —
И хорошо им, словно в зыбке,
Как в поле вольно и тепло!

XIV

Усольцев тоже взял то счастье
Не без волнений и раздумий
И чуял, что на них с их страстью
Проснется гневность в Аввакуме.
Он днями грезил о побеге —
О далях сумрачных дорожных,
О ширях голубых таежных,
О жизни там в труде и неге...
Порвал он с Леей и друзьями,
Их обвиняя, ей винясь,
И думал, думал... А ночами
Не думчив был влюбленный князь!

XV

Тогда она, кто всех уж ближе,
Его ко груди жмет лебяжьей
И чешет волос мягкий, рыжий,
Певуче величая: «Княже!»

Жалеет искренно, безгневно,
Что он, желанный, ясный, любый,
Слюбился с ней, мужичкой грубой,
Сама ж – горда, как королевна!
Румяным розаном и маком
Всегда так веет от нее!
И каждый поцелуй так лаком!
И вздох – как чарое питье!

XVI

Тянулись поста недели.
Весна не приходила долго.
Как вдруг к ним вести долетели,
Что тронулась в верховье Волга.
Дороги делались пестры
От рыже-розовых проталин,
У теплых застрех и завалин
Носился клик касаток острый.
Всё глубже и оголубливней
Дышал высокий небосвод,
И вот пошел уж по Сухоне
Прозрачно-белый толстый лед.

XVII

Пронзительный и влажный ветер
Подул в излоги и услоны, —
И убрались березы ветви
Сережкой бледно-зеленой,
А вербы пурпурные прутья
Завились в белые барашки.
Журчали желтые овражки,
Вадьи синели на распутье,
И жаворонок трелил гордо
В лазоревейшие утра...
В одно такое утро твердо
Борис сказал себе: пора!

XVIII

Вошел он в девичью светлицу,

Боясь принять отказ печальный,
Но деву встретил светлолицей
И за работою пасхальной:
Она сидела, яйца крася
Шелками, лентой кармазинной,
Чтобы легли они в корзины,
Алея густо и цветяся...
И на вопрос его смущенный
Ответила, вся расцветя
Улыбкой дивной затаенной:
«Да! Я ношу твое дитя...»

XIX

Была Великая Суббота.
И в доме от зари рассветной
Все были заняты заботой
Предпраздничной и несуетной:
Кулич пекла старуха сладкий,
Старик для служб справлял кадило,
Одна из дочек блюда мыла,
Другая – чистила лампадки.
Ванильный, ладанный и вешний —
Чудесный запах полнил дом,
И красным воском рдел подсвешник
При аналое голубом.

XX

Потом в ночи, святой и вещей,
Полунощница шла в моленной, —
А князь, собрав бумаги, вещи,
Напевам тем внимал блаженно.
Потом христосовались чинно,
Потом степенно разговлялись, —
А Василиса, запечалась,
Готовилась к путине длинной...
И вот они чрез двор затихший,
Где – голубая темнота,
Идут, бегут... И с ней, поникшей,
Сближает трижды он уста.

XXI

О этот поцелуй пасхальный,
Без страстности и без истомы,
Ты был как их привет прощальный
Для покидаемого дома!
В выси торжественно-замершей
Синели северные звезды.
Над головой темнели гнезда,
У ног их – ивовые верши...
Но миг – она с молитвой слезной,
А он с отвагой молодой
Мчат к переправе перевозной,
Где ждет уж челн их нанятой.

XXII

О светлая река Сухона,
С волною сонной и гурливой!
Твои воронки и затоны
Закружат путь порой разлива...
Но той же стаей лебединой
Плывут по бурным, бурым водам,
Со звоном тонким, плавным ходом,
Твои опаловые льдины!
Курлычущие в небе гуси
И гулы звонниц в высоте
Благовестят о вешней Руси
И о воскреснувшем Христе!

Эпилог

Прошли года. Повсюду в мире
Гремели бури, вились пурги, —
И появился из Сибири
Герой наш снова в Петербурге.
В его гостиной синеватой
Бывали тайные собранья,
Где на большое начинанье
Решались люди, дружбой святы.
Здесь пламенел огонь в камине,
Горел мятежной речью князь

И словно грезила княгиня,
На кресло синее склонясь.

Она, в накидке горностайной
И в жемчуговых крупных зернах,
Была прекрасною и тайной,
Как белый лебедь вод озерных!
Открыты были ей все лица,
Сердца, и мысли, и печали...
И умные друзья их знали,
Что ей Усольцев лишь живится.
Порой на совещаенье мудром
Садился сын-подросток с ней, —
С челом, как солнце, рыжекудрым!
С очами волн морских синей!

<1915–1916>

СКАЗКА О МОЛОДЕЦКОЙ РУКАВИЧКЕ И О НЕЖИТИ-НЕВЕЛИЧКЕ

На Руси то было стародавней
Святочной порой, средь темной ночи...
Спал посад. Оконц замкнутых ставни
Росписью зеленой узороча,
А в незамкнутых слюду лазуря,
Месяц лишь летал по поднебесью
Мимо острых вышек, верхотурий,
Как сереброхвостый змей кудеся.
Спал и терем вычурный, высокий
У лесных чернеющих закраин,
Лишь не спал Василько синеокий —
Юный, удалой его хозяин.
Не охраню отцовских вотчин,
Не войною с ворогом татарским, —
Был иной он думой озабочен,
По хоромам бродючи боярским.
Мать его тут оженить хотела,
Но не выглядел невест боярич:
Были все они и белотелы,
И разубраны в сурьму и ярочь,
Да скушны, как зимние березы,
Да кислы, как летние рябины.
Речь начнешь – зевок, обнимешь – слезы...
И отстал езжать он на смотрины.
Он бродил, и в мысль ему запало
Попытать судьбу свою особо.
Охабень надев соболий алый,
Вышел вон, в алмазные сугробы,
Сдернул рукавицу выстрочную,
Загадал: куда она укажет,
Там и милую искать почну я —
Ту, что волю снимет, руки свяжет...
И метнул ее, подальше трафя.
Высоко взвилася рукавица,
Да над елью, снежною кутафьей,
Вдруг повисла. «Али мне жениться, —
Молвил, над собой смеясь, молодчик, —
На дворовом щипаном галчонке?
Эх ты, суженый! Эх, горе-метчик!
Нет тебе ни варежки, ни женки!»
Глядь: на сук еловый села белка,
Рукавицу меж зубов зажала,
Вниз юркнула и трускою мелкой —
Из ворот и к бору побежала.

Вслед за ней Василько тут погнался
Уличкой ухабистой посада.
Днем народ гулливый здесь толкался
В трепаках, в присядках до упада.
А теперь посад как будто вымер...
Но ползли из труб, из подворотней
Толпы ведьмистых старух-кикимор
И жердяев – парней-оборотней...
Мимо чудищ тощих и косматых,
Мимо ветхих бань, избенок, клуней
Мчал Василько вширь снегов несмятых.
Ночь же делалась всё краше, лунней,
Черный бор – всё ближе и страшнее...
Вот бежит уж он за белкой в чаще,
Вот к полянке выбрался за нею,
Где ложился света круг сребрящий.
Ну, и вывела ж его скакунья!
Смотрит молодец, крестясь, чураясь, —
Лешаки кругом да полесуньи
Пляшут, гогоча, скача, играясь.
Все чудны: курчавы, смуглолицы,
И увертливы, и хохотливы...
Тот – с хвостом, у этого – копытца,
Та – в шерсти рудой, та – с черной гривой.
Встал боярич средь веселых тварей
И глядит, все страхи позабывши.
Ай да пир! Ай да лесов бояре!
Белка ж прыг в дупло коры сгнившей...
И оттуда тотчас же орехом
Кто-то кинул, в гостя попадая.
Смотрит он: с жемчужным нежным смехом
Манит его нежить молодая.
Высунулась из дупла – хохочет,
И в ладоши маленькие плещет,
Золотым запястьем стрекочет,
Ожерельцем янтарным блещет.
Подошел он, замирая, ближе:
Лик – лукавый, розовый, пригожий,
Волоса до пят, пушисты, рыжи,
Зубки беличьи и взор ее же —
Дикий, любопытливый, блестящий...
Рукавицу в горсть она зажала,
Машет ей дразняще, ворожаше...
Сердце тут Василькино упало,
Дух занялся, замутились очи.
Выхватил он нежить-невеличку
И помчался с ней что было мочи,
Завернув, как рыжую лисичку,
Теплою полой трубчатой шубы.

Нес ее и угревал, баюкал,
Целовал в улыбочивые губы,
Как дитя – любимую из кукол.
А она глядела, всё смеючись,
В облик человеческий непривычный.
Дивью взор ее таил дремучесть,
А всё тело – запах земляничный.
Лесуны Васильке не претили,
Лишь поулюлюкали вдогонки.
Звезды свечкой синей им светили,
Снежным хмелем сыпали сосенки,
Горностайка прыгал, скомороша,
Совка похохатывала, теща, —
Путь тот был счастливый да хороший,
Даром что сугробистый и пеший!

* * *

И пришел боярич в отчий терем
На заре, усталый и веселый,
Похвалился словленным им зверем,
Пораскрыл малиновые полы
И сказал: «Вот, матушка, – невеста,
Что себе я выискал и добыл».
Что подеялось! Вскочивши с места,
Грянулась боярыня тут об пол,
С кос швырнула кикю золотную,
Испорвала кунью телогрею, —
Знать-де не хочу сноху такую!
Челядь же – потатчица – за нею:
Ключницы ревут, чернавки – пуще,
Мамки голоса, а девки – звонче, —
Вой пошел от стольной до стряпушей,
Инда пес завыл у окон гончий!
Тут еще заныла, забубнила,
В бубенцах, в тряпье цветном, шутиха...
Шибко то Василько прогневило:
Топнул он – и вмиг всё стало тихо.
Розовые, желтые шугаи,
Голубые, алые саяны
Разлетелись прочь, как попугаи,
И скоренько к дочке богоданной
Подошла боярыня с поклоном.

* * *

Ночь одну провел с женою в ласке
Молодой довольным и бессонным,
Поутру ж раздумался в опаске:
Как бы его любя-невеличка
Воли молодецкой не лишила!
Спит, – а не рассталась с рукавичкой.
Взять хотел, – с неженской держит силой!
И взмахнул он над ласкуньей плеткой:
Даст силом, коли добром не хочет!
Как метнется, вскинется молодка,
Как оскалит зубы, захохочет!
«Ой ты, вьюнош, глупый, хоть с бородкой!
Теремная темная тетеря!
Был вечер ты с дорогой находкой,
Нонче стал с бесценною потерей...
Вольную, уветливую нежить
Ты посмел несносно так обидеть!
Ведь могла б я веселить да нежить,
А теперь тебе меня не видеть!
Ин спасибо! Срок мой укоротил:
Ты, озолотив и ожемчужив,
Здесь бы жить меня не приохотил!
А не то – плести б мне прошвы кружев,
Слушать лишь шушуканье да сплетни,
Баб вытье да прибаутки дурак,
Сменивать с тоски шушун на летник,
Видеть мир земной лишь с верхотурок...
Не любо житье мне человежье!
Не любя мне ваших женок доля!»
Скрылась за изразчатую печью
И оттуда – через миг, не доле, —
Выпрыгнула белочкой-скакуньей
В золотистой шелковистой шерстке.
Рукавица ж всё при ней, колдунье,
Лишь зажата в лапке, а не в горстке.
Ловит белку парень по запечью,
А она с злаченых потолочин
Уж глядит и молвит русской речью:
«Был ты думкой малой озабочен,
Будешь изведен тоской великой
По лесной сладимой смуглоличке...
Эх ты, муженек! Эх, горемыка!
Нету ни жены, ни рукавички!»
Прыг да прыг к дверям из красной гридни,
Скок да скок к сеним на двор снежистый,

Засмеялась, – что всего обидней! —
И пропала в той же ели мшистой!

* * *

Просыпался уж посад разгульный,
Люд плясал уж, не жалея пяток...
То случилось на Руси досюльной
Среди бела-дня, порою святок.

1916

СКАЗАНИЕ О МАРИИ – ПРЕКРАСНОЙ ЕГИПТЫНЫНЕ

В светлый век лепоты христианской
Был известен торговлею шумною —
И богатством, и тратой безумною —
Град приморский земли египтянской.
И жила там в то время блудница,
Что слыла знаменитой красавицей
И великой искусницей нравиться,
Ибо лет ей хоть было уж тридцать,
А казалось всего лишь семнадцать!
Волоса ее бронзово-красные,
Стан извилистый, руки атласные —
Всё манило грешить и смеяться!
Дни ее протекали в поместье,
Средь духов, опахал, драгоценностей,
В усладительной утренней лености
И в полуночном горьком бесчестье.
Из страны отдаленной и близкой
Каждым утром почтовые голуби,
Белы, дымчаты, сизы и голубы,
К ней летели с любовной запиской.
Раз Мария (так было ей имя)
Над террасою, к Нилу сходящею,
Эту почту крылатую мчащую
Принимала руками своими.
Вились птицы над ней и гурлили,
Отдыхая на розовом мраморе,
Пахло ветром соленым из-за моря
И цветами надводными лилий.
Возле – серые никли аканты
И оранжевые амариллисы,
Ниже – волны зеленые лилися,
И, взметая веслом бриллианты,
Плыли барки... Лицом посвежелым
Обратясь к ним, Мария рассеялась,
И кефье ее по ветру веялось —
Полосатое, желтое с белым!
Вдруг примчался от нильского плеса
Черный голубь и, ветку терновника —
Не посланье, не розу любовника —
Уронив ей, обратно понесся...
Гнев Марию объял и волненье,
И за птицей – страдания вестницей —
Побежала она вниз по лестнице,
Но у самой воды в изумленье
Замерла: под завесами лодки,

Что пред ней проплывала медлительно,
Ехал юноша, ликом пленительный,
Взор поднявши фиалковый кроткий...
«Друг, куда уезжаешь отсель ты?» —
Закричала она уж без гневности,
Он же голосом, полным напевности,
Отвечал ей: «Доеду до дельты,
А потом, если путь мой угоден,
Доплыву, госпожа, в Палестину я, —
В Божьем Городе просфору выну я,
Поцелую там Гроб я Господень...»
Тут блудница с ним плыть попросилась,
Плача, руки ломая притворчиво, —
И паломник, простой и сговорчивый,
Оказал ей охотно ту милость.
Так Мария пустилась в дорогу,
О какой и не знала при выходе,
По одной мимолетнейшей прихоти
И пылая любовью не к Богу,
Но к прекрасному спутнику. Вскоре
В гавань вплыли они корабельную
И с триремою многовесельною
Понеслись в беспредельное море.
Быстро скрылась страна их из вида
И с песками, и с городом каменным,
Лишь на западе, изжелта-пламенном,
Всё чернели ее пирамиды...
Очувтившись на людной триреме,
Видя взоры скрываемой похоти,
Вечер тот в лепетанье и хохоте
Проводила блудница со всеми.
Всюду, в гаснущем солнечном блеске,
Золотились глаза ее длинные,
Узкий лик, и шелка апельсинные,
И янтарные, грушей, подвески!
Но она одного лишь хотела, —
И, восхода дождаввшись лунного,
Уловила паломника юного
Меж тюков на корме опустелой.
Севши с ним, зашептала Мария:
«Как ты грустен и тих, о паломниче!
Знай же, как ни молись и ни скромничай,
Здесь – земля и услады – земные.
Посмотри: всё кругом нас уснуло...
Не беги же меня, не отталкивай —
Мил мне лик твой и взор твой фиалковый!»
И к нему бы она уж прильнула,
Если б в страхе и странном бессилье,
Осиянная им, не упала бы...

Он же, дивный, поднялся над палубой,
Распростерши лазурные крылья,
И в туманах исчез... С этой ночи
Начала было дева печалиться,
Но когда многодневной скиталицей
Средь толпы богомольческой прочей
Прибыла она в Землю Святую,
То уж суетной стала по-прежнему:
Пела, краю дивилася здешнему
И пошла, красотой торжествуя,
В церковь белую Иерусалима
Так легко, как куда бы то ни было, —
Оправляя то складки, то фибулы,
Ненасытным тщеславьем палима.
Вдруг, как некий незримый привратник,
Вход ей острым мечом заграждающий,
Синекрылый и бледно-блистающий,
Встал пред нею таинственный ратник,
Взор нахмутив фиалковый грозный.
Трижды в храм тот она порывалася,
Трижды в ужасе вспять возвращалася
И упала с молитвою слезной
Пред иконою Девы в притворе:
«О, Мария, Заря беззакатная!
Я – Мария ж, но тьма необъятная,
Я – что мумия в пышном уборе...
Но прости, защити и помилуй,
И воздам я за милость ту сторицей:
Пусть и мне эти двери отворятся,
Пусть смягчится Твой Страж синекрылый!»
И вошла, и в тоске покаянной
Ниц простерлась – лежит и не двинется...
Встав же, быть возалкала пустынною
И пошла к берегам Иордана.
Там искала она переправы,
Да зашло уже за горы солнышко,
И ни жерди, ни утлого челнышка
Не открыли ей темные травы.
Но качнулся лозняк прибережный —
И явился крылатый тот Юноша,
Тонким воздухом в лик ее дунувши,
Взор склонивши фиалковый нежный, —
И повел по чернеющим волнам,
По серебряной ряби, как посуху,
Белый крин ей подав вместо посоха,
Ко тропинам пустыни безмолвным...

Сорок семь уже лет пребывала
Там Мария, живя как пустынники, —

Ела корни, акриды и финики,
Никого из людей не видала,
А встречалась лишь с стаей шакальей
Да с большими стадами газельими,
Навсегда разлучившись с весельями,
Навсегда подружившись с печалью...
И обрел ее старец Зосима
Обнаженной, огромноочитою,
Вплоть до пят волосами укрытою
И по воздуху дивно носимой.
С ней беседовал он, исповедал,
Причастил – и Мария преставилась.
Погребсти ее старцу представилось,
Как же это свершить, он не ведал,
Так как был уже слабый и хилый.
Но внезапно из заросли выжженной
Вышел лев, удрученный, приниженный,
И когтями ей вырыл могилу.
Долго старец смотрел, пораженный,
И воскликнул: «О чудо чудесное!
Велика же ты, Сила Небесная,
Ей же служат мужи, как и жены!»

<1916–1917>

ЛАЗОРЬ ЧУДНЫЙ

сказ о рае

Ой, и страшно ж в непогоду Море Белое,
Словно олово, в аду самом вскипелое.
Вал на вал идет, как воин, гривист, яр,
Как у грешниц, заунывен клик гагар...
В эту пору ни на лодочке – пустытника,
Ни московского аль фряжского гостинника
На судне большом не видится вокруг...
Ан – запрыгал в мутной хляби чей-то струг.
Языком огня багряный парус вскинут там,
На носу малеван змей со ртом разинутым,
А Николы лик под ним забит доской...
Ой, недобрый то был струг, воровской!
И езжало на нем двадцать пять повольников —
Разудалых собутыльников, застольников,
Немоляев, непощенцев, гордецов,
Без креста у шей, с ножом у поясов.
Уж давно они делами черта тешили —
Православный люд ограбляли, вешали,
Жгли хоромы, потопляли суда,
Не пужаясь ни Господнего Суда,
Ни людской кары на дыбе или в каморе...
Не пужала их и ныне буря на море.
В шапках на ухо, в кафтанах нараспах,
С вихрем в кудрях, с брызгом соли на губах,
В обстающей тьме без солнца, без созвездьяца,
В волнах хлещущих они не перекрестятся —
Тот ругается, озлен, тот свищет, пьян,
Лишь молчит, у носа стоя, атаман,
По прозванию Ивашко Красно-Полымя, —
Рослый, врачный и с очами развеселыми
Да и жуткими ж! точь-в-точь кошачий глаз,
В кудрях, рыжих, гладких, лосных, как атлас.
Молвил слово он, когда лишь снасти треснули:
«Хошь не верую я в рай земной, небесный ли,
Дай-ка, братцы, обману Христа?..
Может, впрямь не сгибнем с знаменем креста...»
Поднял с пола два обломка мачт расщепленных,
Водрузил их на носу, крест-накрест скрепленных,
И поплыл, забрезжил в теми белый крест
Средь бушующих пустынных водных мест,
Охраняя струг багряный с побродягами,
Утешавшимися песнями и флягами.
Утешались – и заснули, где кто лег...

Пробудились уж, как заревел восток.
Видят – море еле плещет, буря стихнула,
Впереди же, словно солнце, что-то вспыхнуло,
Ан не солнце! Смотрят зорко: над водой
Встал утес, блестя, как слиток золотой.
Упирается вершина в небо Божие,
Деисус святой написан у подножия, —
И сияет его чудный лазорь
В свете утренней звезды и вешних зорь,
Отражаясь в водах ясных, ровно в зеркале...
«Эх, лишь вызнать бы, где тут ворота, дверка ли!
Пребогатый-то, должно, монастырек,
В нем мы шибко попируем, дай срок!»
Так Ивашко говорит своим соратничкам.
Те уж радостны стоят, как перед праздничком —
Со чужа плеча кафтан их ал да рван,
Со чужой ноги сапог их желт да дран,
Из себя они такие же пригожие —
Приопухшие от пьянства, краснорожие,
Этот перстнем щеголяет, тот – серьгой,
Тот – клеймом, а этот – вырванной ноздрей.
Ослабляются, гогочут и боченятся...
Позади их – взморье розовое пенится,
Впереди – горит лазорем утес.
«Кто, ребята, на разведку?» – Но на спрос
Атаманов ни один не отзывается:
Никому допреж погибнуть не желается.
Вот и начали метать жеребья.
Выпал жребий на Алешку Воробья —
Изо всех из них, ушкуйников, младшего,
Золотым пушком у губ едва обросшего...
И причаливали к дивной горе,
Отливной, как бы застылой в янтаре,
И спускали на побережье с борта сходенки.
Воробей, как парень вспыльчивый, молоденький,
Подзадариваем из низу смешком,
Шел по скользкой крутизне ползком, движком,
А потом бежал, как векша мягкопятая,
А потом летел, как горлица крылатая,
У вершины же руками вдруг всплеснул
И сокрылся, словно в небе потонул.
Ждали час его и два – не ворочается...
В синей зыби струг малеванный качается...
Заворчали, заскучали удальцы,
А Иван кричит: «Эх, горе-молодцы!
Вы сполняйте-ка, что будет мною сказано;
Пусть-ка, за ногу веревкою привязанный,
По Алешкиным следам идет второй! —
Чай, очутится, коль дернем, под горой».

Снова жребий меж повольниками кинулся,
И на этот раз он Фомкой Темным вынулся,
Изо всех то был ушкуйников старшой —
С бородой до глаз, чернучей, большой.
Обвязали Фомку за ногу веревкою —
И поднялся вверх он поступью неловкою,
У вершины же, взмахнув руками тож,
Порывался скрыться в просини... Его ж
Вмиг товарищи с высей да книзу сдернули,
Да неладно ли, уж оченно проворно ли, —
Только смотрят, перегнувшись через борт:
Фомка тих лежит, недвижим... Фомка мертв!
Тусклый взор в лазорь уставил сокровенную
И улыбку в бороде укрыл блаженную.
Час и два прошло. Уж розовеет рябь,
Чуть колышется в ней красный корабль...
Приумолкли, принахмурились повольники,
А Иван смеется: «Горе-богомольники!
Будь порукой мне вон тот Деисус,
Коли я пойду, живехонек вернусь.
Все-то клады во скиту ведьмовском вызнаю, —
В злате-серебре прокатимся отчизною».
И поднялся, не обвязан бечевой,
Легкий, ловкий, с алой в солнце головой,
Ни раза не пав на круче оянтаренной,
У вершины же качнулся, как ударенный,
И руками заплескал, как первых два, —
И сокрыла его так же синева...

Уже вторая ночь течет и сходит за море,
В светлой глади судно темное как замерло...
Но не спали там все двадцать два пловца,
Уж не чая атаманова лица.
Глядь: средь марева рассветного, весеннего
Словно он бы к ним подходит... аль то — тень его?
Взор глубинен, стан изгорблен, лик как мел.
Стали спрашивать, — ни слова! Онемел.
Тут, впервой, быть может, в жизни перепуганы,
Оттолкнули вмиг от берега свой струг они
И, чураясь и грозя кому-то зло,
Налегли что было силы на весло.
Прочь от дивного утеса струг уносится,
Выгребая, на Ивана други косятся:
На него и впрямь напущена, знать, хворь —
Смотрит он, как околдован, взад, в лазорь,
Простирает руки к сени Деисусовой,
И злата-слеза катится на злат-ус его...

День и два плыла так вольница. Всё то ж.

Атаман на атамана не похож.
Он не пьянствует, как прежде, не господствует,
Но кручинно, на корме сидя, немотствует...
И случилось плыть разбойничью стружку
Близко к малому морскому островку,
Где виднелась хижа божьего отшельника
Средь черемух зацветающих и ельника.
На пеньке, как аналое, – Часослов,
На березке, как в божнице, – Богослов,
Сам же старец недалече тут же трудится:
Забезалого сурка с залетной утицей,
Отощалого волчонка с голубком
Кормит, ласково начав шепотком,
Из единой своей глиняной посудинки.
Из себя он, старец – махонький да худенький,
Борода же превелика, до колен
И белее беломорских пен...
И Иван, монашка чудного завидючи,
Из раздумья своего лихого выдучи,
Гласом диким, как немые, возопил,
Больше знаками дружине пояснил:
«Дайте мне, мол, вы сойти на берег острова!»
И спустили те его со струга пестрого
На рудой песок, махнувши рукой:
И на что, мол, ты нам надобен такой!
Гасли красные полотна корабельные,
Запевали волны песни колыбельные,
Обставали пришлеца спокой и тишь,
Верба частая и долгий камыш...
Привечали его ветютни да стрепеты,
Старчи очи да молитвенные лепеты...
И к стопам его Иван, дрожа, приник
И, укрыв в холщовой ряске бледный лик,
Языком, вновь Волей Вышнею развязанным,
Рассказал ему о узренном, несказанном.

Слушал иннок-стар, повит брадой, травой,
Сказ взаправдышный и дивный таковой:
«Я, отец, злодей великий, Красно-Полымя,
Что с собой нес по Руси разор и полымя,
Особливо ж супротив грешил церквей:
Зелено-вино с дружиною своей
В алтарях пивал из чаши для причастия,
Обирал гулящим девкам на запястия
Бисер рясный с богородичных икон...
И недавно вот – тому лишь сорок дён —
Во скиту одном с белицей Серафимою
Учинил, безумный, мерзость непростимую...
И бела ж была! пряма! Точь-в-точь свеча.

И к Христовой вере так же горяча.
Захотелось мне не только с ней понежничать —
Над святыней ее с ней же понасмешничать.
Обокрал их храм я, оголил престол, —
С аксамитами, с парчами к ней пришел.
Настелил в убогой келье златны пелены
И на них хотел творить с ней, что не велено.
Только чувствую: как лед, холодна...
Померла, отец, от ужаса она!
Встал я, свистнул... Я-то веровал лишь в дьявола!..
Ну, а после наше судно в море плавало,
Налетела буря, – и нас ветер принес
Пред золотой, отливный, дивный утес.
Упирается вершина в небо божие,
Деисус лазорем писан у подножия, —
И сияет этот чудный лазорь
Ярче пазорей морозных, вешних зорь.
Взоры прочь нейдут, слова... нейдут из уст они!
А корыстный разум шепчет: “В этой пустыни,
Видно, много есть казны... Ее бы взять...
Только нужно ходы-выходы узнать”.
Двух дружинников послал, и оба сгинули,
Сам пошел, – и треть ли кручи, половину ли
Одолею я, отче, с страшным трудом,
Как на льду скользя зеркально-золотом.
Дальше ж, отче, как поведать то? как выразить?
Словно крылья за плечом моим вдруг выросли,
Словно шел я, плоть, как платье, оброня,
Словно Некто, мне незримый, нес меня!
И достиг так до вершинного я взгория,
Под ногами вижу облаки, помория,
Вкруг – пустынные, туманные места
И среди них, как солнце, зарные врата
Злата красного, в крестах из камней подлинных...
Но не чудо ль?.. Ни стены, ни тына подле них...
Обойти их я смекнул. Но там и тут —
Чуть ступлю – златые ж стены восстают,
Из земли, из мглицы млечной вырастая ли...
Отступлю – и снова нет их... Как растаяли!
Я ж упрям и дерзок, отче... И к вратам
Напрямик тогда направился... А там,
В белоснежные подряски одетые,
Вдруг два старца появились, беседея.
И один из них могуч, улыбчив, лыс,
Светлым венчиком седины завелись,
Золоты-ключи висят под опояскою, —
И играют пальцы смуглые их связкою.
А другой – орлиноок, мудрен, высок,
Кудри львиные слились в седой поток, —

И не движется прозрачный перст, положенный
На большой раскрытой книге алокожаной.
Почему-то вид их страх в меня вселил.
Я к ним, тупясь, запинаясь, подходил.
Озирали и они меня в безмолвии. —
И блистателен, пронзителен, как молния,
Был второго взгляд. А первого глаза
Были мерклы и тверды, как бирюза.
И согнула сила странная, та ж самая
Перед ними в поясной поклон плеча мои...
Тут держащий золотые ключи,
Хмуря лоб, прогнав улыбок лучи,
Рек: – “О райской любопытствуешь обители,
Что досель вы, человеки, не расхитили?
Хочешь узреть триблаженные места?
Ты ли, ты ли, враг Невесты и Христа?!” —
И великая, отец, тоска взяла меня...
А держащий книгу кожи ало-пламенной
Взглядом жег меня до сердца глубины,
Открывал мне все грехи мои, вины, —
И познал я, отче, большую тоску еще...
“Любопытствующий – то ли?.. Нет, взыскующий!” —
Рек он первому. А мне промолвил он:
“В честь какого из святых ты наречен?”
Я сказал и... вдруг вратарника умиловал.
“Ну, для Ангела твоего, мне ж – друга милого,
Я тебе врата Христовы отворю.
Чай, простит он своему ключарю”.
Ищет он ключа всех большего, блистучего,
Им касается легко замка певучего
И... я пал, прижав к очам кафтана край...
Отче! отче! Там и подлинно был рай.
Что засветы! за уханья! дива! пеня!
Я ослеп, оглох... я умер... В то мгновение
Тот, второй, извел меня из забвения:
“Встань! Не бойся. Твой вожатый буду я”.
Поднялся я, глянул вновь очами зоркими:
Там за блещущими отпертыми створками
Чистым золотом цвели поля, луга,
Чистым золотом струилась река.
“То – обитель Нищих духом, сыне милый мой...” —
Молвил Старец. И вдвоем в нее вступили мы.

Тотчас, отче, узрел я тьму дивных див:
У реки росли кусты поющих ив, —
Как уста, пел каждый лист и выговаривал,
И, как струны, хоть никто в них не ударивал,
Пели сучья их, лучася и тончась, —
И запомнился мне даже посейчас

Злат-грустён напев, каким звенели прутики.
В поле ж были самовеющие лютики,
Из которых каждый, вроде опахал,
Желт и пышен, над тобою махал.
И, подобно им, растущий здесь подсолнечник
Сам тебя от солнца застил, словно солнечник.
А в не сеянной никем, нежатой ржи
Возвышались золотые шалаши, —
И бродили души возле них, по веси ли,
Милым делом занимались или грезили.
Те пасли золотокрылых Жар-птиц,
Треля им из злато-выдутых цевниц,
Те ловили, полны радостными бреднями,
Золотую рыбку златными же бреднями...
И дивился я премного на то,
Что кругом меня всё было золото...
Но услышал речь премудрого Вожатого:
“Злато хитрого блазнит или богатого.
Те ж, что видишь, были нищи и просты,
Веру чтили выше разума тщеты, —
И Златое Царство стало им наградою,
Бескорыстно, как младенцев малых, радуя”.
И указывал потом мне среди других —
Юродивцев, простецов, калик святых,
Что, подвижничая Богу, скоморошили,
В осмеяньях и гоненьях век свой прожили.
Указал того, что некогда был царь,
Наипаче же молитвенник, звонарь,
Ныне ж в честь своего Ангела Феодора
Службу правил, препоясан в белый водоросль...
И того, кто на земле слыл дураком, —
Всё плясал, звеня пудовым колпаком,
А теперь сидел в венке из травки заячьей,
Образки из древа тонко вырезаючи...
И – заметил я – все души до одной
Были в царской одежде золотной
И полны все до одной веселья детского,
Но не чудно ль? Лика фряжского, немецкого
Не заметил я среди радостных их толп.
Был угодник здесь, избравший домом столп,
Пса главу избравший вместо человеческой,
Но земли то египтянской или греческой
Были души. Остальные ж – от Руси.
А Вожатай мне: “Что мыслишь? Вопросы”.
И отвечивал затем: “Меж всеми странами
Пресвятыми прозорливцами и странними,
Чья душа была проста, а жизнь – чудна,
Наипаче, друг, твоя земля славна”.
И пошли из царства дивных див мы далее.

Вскоре ж, отче, услышал в пространной дали я
Как бы шорох изобильного дождя
И увидел вкруг, равниною идя,
Всё березы, белоствольные, плакучие,
Облитые, как слезой, росой сверкучею,
Из цветов же здесь росли плакун-трава,
Богородичины-слезки – только два.
А певучий струйный шум всё ближе слышится,
В поднебесье же ни тучки не колышется.
Вдруг потоком в виде водного кольца,
Пенным, странным – без начала и конца —
Путь наш прерван был. За ним врата со стенами,
Жемчугами изунизаны бесценными,
Чуть мерцали, – и прозрачная капель
С них стекала и звенела, как свирель.
Вкруг же стен тех цепью белой непрерывною
Плыли лебеди и пели. Диво дивное!
А у врат с мечом Архангел предстоял,
Краснокрыл и в латах алых, словно лал!
Он играл своим мечом – кидал, подхватывал —
И, прекрасен, зарен, статен, взоры радовал!
Безбоязненно вступил в пучину вод
Мой Вожатай – и меня вослед зовет.
Я дерзнул. И было мелко ли, глубоко ли, —
Не проведал... Дна стопы мои не трогали,
Хоть всего меня обрызгала волна,
Как слеза, тепла, светла и солена.
Лишь когда дошел до берега несмущенно я,
Рек мне Старец: “А река-то, друг, бездонная!
Ибо вся из слез, что лил человек...”
Задрожал я... А Архангелу Он рек:
“Днесь ты, видно, Михаиле, в благодушии”.
Еще больше ужаснулся я, то слушая:
Понял, отче, я, что был Архангел тот
Тем, кого Господь в предсмертный час к нам шлет...
Он же, Старцу смехом звончатым ответивши,
А меня как будто вовсе не приметивши,
Чуть коснулся лезвием, что жал в перстах,
Наикрупной жемчужины на вратах, —
И раскрылись те, поскрипывая песенно...
И опять то, что не видано, не грезено,
Мне предстало там: широкий царский двор,
Замощенный перламутрами в узор,
С сенью светлой в кипарисцах, темных, прячущих...
Молвил Старец мне: “Сия обитель – Плачущих”.
Мы вошли. Полулучи и полутень...
Прохлаждает круглокупольная сень
Из жемчужницы единой тускло-блещущей,

Водометы веселят, летяще, плещуще,
И покоят, став в притине, у струи,
Преискусные и мягкие скамьи
Под полавочником пуха лебединогo...
И сидят там, полны счастья глубинного,
Души праведных... Иль пляшут в кругах,
Иль в согласии играют на дудах,
Лирах, гусях, мелким жемчугом украшенных,
Или кормят вместо крошек хлебных брашенных
Лебедей своих жемчужным зерном,
Иль блаженным забываются сном...
И опять не мог постичь мой разум суженный,
Отчего тут всё жемчужины, жемчужины...
И отвечивал Вожатай на вопрос:
“Этот жемчуг из застылых горьких слез...
Те, что видишь, были в мире безутешными, —
Стали вельим покаянием безгрешными
И за то в Жемчужном Царстве, кончив дни,
Утешаются во Господе они.
Видишь ты жену прямую, смуглолицую?
Египтянскою она была блудницею,
Но все страсти выжгла зноем пустынь, —
И сейчас вот взлетает в пляске в синь!
А вон та, чьи косы в воздухе разносятся,
Словно крылья золотые, — Муроносица...
Прегрешала тож, а днесь, как снег, чиста
И, гляди, читает грамотку Христа...
Ибо тот сосуд, из слез и мура пролитый,
Не забыт Им... Погоди, узришь и боле ты...”
Правда. Видел здесь я и Давида-царя,
Что играл на гусях, взорами горя,
Видел нашего Никиту Новгородского,
Что, смеясь от услаждения неплотского,
Воду райскую из златной шапки пил
(Здесь, отец, одет инако каждый был),
И Антония, пустытника великого,
Долгобравого, сухого, светлоликого,
Что забавился с пльвучим лебедком.
А потом узрел я, отче, потом...
Самого его, разбойника разумного,
Темнокудрого, но ясного, бездумного!
Он сидел у врат, сложивши тяжкий крест,
И вдыхал всей грудью воздух здешних мест...
О волнение мое! О упование!
Содрогнулся я впервой, отец, в рыдании...
Он же, Старец благодатный, говорит:
“Знай, Иване, путь его для всех открыт”.
И, воспрянув, вновь я шел. И узрел пару я,
Исхудалую сверх мер и вельми старую,

Но в седилах чище, глаже серебра.
Муж, нагой со странным знаком у ребра,
Улыбался, движа сеть морщин извилистых,
И держал в руках могутных, темных, жилистых
Желтый череп и багряное яйцо.
Улыбалась и жена, склонив лицо,
И держала на руках дитя пригожее,
Но туманное, на призрака похожее,
Что, сияя из бессмертников венцом,
Ручкой мреющей тянулось за яйцом,
Не страшась отнюдь и черепа безглазого.
Уж как вскрикну я: “Кто эти, старче? Сказывай!”
“Это – пращурь твои, – в ответ мне Он, —
Как и всех людей, народов и племен,
По вине их (паче жениной) утратили
Рай они – и волей Правого Карателя
Весь свой род уделу смерти обрекли.
Но минуют сроки скорби для земли:
Силой мудрую и купно чистой – девинной —
Чрез века веков вина сотрется Евина...
То дитя, в мир не рожденное, – Она,
Что бессмертье человекам дать должна.
Череп – тленья знак, яйцо же – воскресения,
Оттого-то и ее к нему влечение,
А кручинных наших праотцев – к ней...
Я ее в купели звездных огней
Окрестил... И особливейше заботятся
Тут о ней Премудрость-Софья с Богородицей”.
Поклонилась Старцу Ева; “В этот час
Должно правнуче оставить нас.
Не возьми за труд, честной Благовестителю,
Снести ее к твоей излюбленной обители!” —
И янтарноокий Старец взял дитя.
Удалились мы, втроем уже идя.

Во второй раз речку слез бездонно-пенную,
Окружавшую обитель ту блаженную,
Перешли. И не страшился я... А там
Путь наш вилял по плавным холмам.
И сильнейшее приятное уханье
Ощутил вдруг я в недалеком расстоянии,
Словно где-то шел душистый сенокос...
После – вижу – от незримых чьих-то кос
Травы падают кругом волной немятою —
Белоснежная ромашка с синей мятою,
Золотой шалфей да алый зверобой —
И ложатся в копны сами собой.
И тому, что были травы всё целебные,
Что кошнина, словно радуга волшебная,

Полосами шла, что был незрим косец, —
Удивился премного я, отец.
Но глядел уж свыше меры изумленно я
Вслед за тем на огороды, разведенные
Под одним из наибольших холмов,
Над которым стая белых голубков
Вилась облаком, воркуя славословяще, —
В огородах тех невиданные овощи
И размера небывалого плоды
Наливались, изумрудно-золоты.
И опять тут, отче, некие Неявные
Поливали эти дыни, главке равные,
Огурцы те, с малый челн величиной,
Или плод, мне неизвестный, – с чешуей.
Над холмом же град в ограде многобашенной,
Бело-выбеленный, голубо-окрашенный,
Возвышался... И вело в тот светлый град
Я не знаю сколько радужных врат!
Близясь к ним, услышал я со мною Бывшего:
“Поясню тебе я нечто из дивившего:
Те незримые, косившие траву,
Смерти ангелы... Им, сыне, наяву
Представать не подобает в месте счастья.
Поливавшие же – ангелы ненастия,
Чье прозрачно естество, как стекло, —
И людское око зреть их не могло.
Что ж до овощей, плодов, тобою виденных,
Кто и как возвращает их, столь необыденных, —
И с какою целью, – ты узнаешь там.
Но попробуй в светлый град проникнуть сам!”
И, сказав, он глянул в лик мой испытующе.
Мне ж помнилось это легким. На ходу еще
Избираю я одни из этих врат,
Что, как радуга, круглятся и горят,
Достигаю и... о, жалкий! о, неведущий!
Меркнут, гасятся врата мои... Их нет уже...
Лишь одна стена глухая близ очей
Из лазоревых и белых кирпичей.
Я – к другим, я – к третьим, пятым... То же самое!
Исчезают, обманув собой глаза мои...
Пред последними ж, меня опередя,
Встал Несущий нерожденное дитя,
И рекло Оно чуть внятным лепетанием,
Больше схожим с голубиным воркованием:
“Мир вам! Мир вам!” И врата, не погасясь,
Широчайше растворились тотчас.
И предстал Архангел с крыльями зелеными
Под одеждами простыми убеленными,
Что имел в руках смарагдовый сосуд.

Молвил Старец духу: “Как святой ваш труд,
Рафаиле? Скорби мира утолите ли?”
И узнал я в том Архангела-Целителя.
“С Божьей помощью”, – отвечивал он,
Лик склонив, что был кротчайше просветлен.
Я ж вперед взглянул и должен был зажмуриться, —
Так белелись теремки и верхотурьяца,
Так лазорился детинец в вышине.
“А сия обитель – Кротких”, – Старец мне.
И, во град вступивши, всё в нем оглянули мы.
Что же, отче?! Пребольшими были ульями
Терема те и полны лишь медуниц,
Башни ж многие, полны Господних птиц, —
Превеликими, отец мой, голубятнями!
Вновь я думами томился непонятными:
“Старче! Чудно мне... Где ж души тут живут?”
Он же мне с улыбкой легкой: “Там и тут.
Для души ль жилище? Нет, – но обиталище.
Часто вид принявши тайный – тонкий, малящий,
Обитают там у вас, на земле,
Души эти... Здесь же – более в кремле”.
И, доподлинно, узрел их там без счета я.
Все склонялись, нечто чудное работая:
Жены возле веретен и станков
Пряли, ткали из ходячих облаков
Ризы тонкие, снегоподобно-белые
Или шили, пояса из радуг делая...
А мужи сошлись у горнов и печей
И ковали там из солнечных лучей
Целый ряд венцов, златящихся и царственных,
Иль из трав, мной в поле виденных, лекарственных,
От болей варили снадобья... И все
В их одежде снежной, в кроткой их красе
Были полны прилежанья и веселия;
И подумал я: “Зачем, с какою целию
Труд их радостный?..” А Старец, вмиг поняв:
“Те, что видишь здесь, имели кроткий нрав,
Жили в мире, ссор не дея и не ведая, —
И теперь награждены за то, наследуя
Землю новую в недалние уж дни...
Вот к сему здесь и готовятся они:
Совершенствуют и припасают загодя
Одеянья и венцы, плоды и ягоды,
Чтоб прийти достойно с царствием своим,
Где всё будет благодатным, иным
И по сути, друг, не только лишь по имени...”
И, внезапно отвратясь: “Пантелеимоне! —
Рек Он юноше со звездами очей
И власами, словно черный ручей,

Что трудился меж сулей стекла отливного. —
Есть новинки твоего искусства дивного?” —
Тот же скромно: “Вот от зависти питье...
Вот – дающее печалей забытье...
Но варится там вон – видите? – Февронией
Пивомёде из сотов, всех благовоннее,
Что дарит восторг без времени, без дна”.
Мы взглянули: русокошая жена,
Лик склонивши, зорь румяней и любовнее,
Хлопотала над злаченою жаровнею.
К ней направясь, пояснял Вожатай: “Знай,
Граду кротких помогает весь рай.
Посещаем и Николой он угодником,
Много благ преподающим огородникам,
И Илья-пророк, искуснейший ковач,
К ним езжает... Вот и сей чудесный врач, —
Из другой он, ближе к Господу, обители,
Но бывает, вразумляя, как учителя”.
Тут послышался серебристый шорх колес,
И в два голоса за нами раздалось:
“Полюбуйся-ка скорей, честной Апостоле,
Что мы с помощью святителевой создали!”
И двух юношей увидел тут я,
Синеоких, стройных, схожих, как братья,
Рядом шедших пред телегами серебрёными
И крылатыми быками запряженными,
Что с усилиями влекли их по пути,
Хоть лежало в них плодов лишь по пяти.
“Хватит всем нам, киевлянам с москвитянами,
И поделимся еще с другими странами!..
А сотов-то, отче, жита!..” Так рекли
Эти двое и, обнявшись, прошли.
“Ваши княжичи... кротчайшие... Убили их.
Но придут опять с пшеницей, с медом, в лилиях
Зацарюют – и настанет рай у вас”.
Смолк Вожатай, близ жены остановясь.
Умилилась та пригожестью дитятиной
И дала ему из дымно-светлой братины
Каплю малую медового питья, —
И взыграло нерожденное дитя.
Я же, запахом дохнувши только сладостным,
Стал мгновенно, беспричинно, отче, радостным...
Видел также я в том граде средь мужей,
Что, ликуя, груды копий, стрел, ножей,
Ставших ржавыми от крови, в горне плавил, —
Белокурого, улыбчивого Авеля.
Древле брат старшой сгубил, отец, его, —
И убийство на земле пошло с того.
Зрел Иосифа Прекрасна, в рабство продана

Встарь братьями ж в чужедальний край с их родины...
В райский загром зернь ссыпал он, смугл и бел.
Зрел монаха фряжских стран, который пел
С голубятни в небесах, темневших голубо,
Славу вечеру и Агнцу, дню и Голубю...
Так же с миром проводил нас Светлый Град, —
И оглядывался долго я назад.

Местность делалась меж тем всё боле горною
И скрывалась ночью райскою – не черною,
Но, как синий яхонт, – черно-голубой...
И услышал я внезапно над собой
Как бы многих колесниц далеких рокоты
И орлов гортанно-бархатные клетоты.
Просиял Вожатай мой при клике том,
Словно близок был родной его дом,
И дитя, что с ним, орлам тотчас откликнулось,
Закивало им, как будто с ними свыкнулось.
Я ж не видел, хоть глазами и искал,
Ничего кругом, опричь высоких скал,
Острозубчатых, из камня тускло-карего.
Вдруг забрезжили разгарчивые зарева
В неоглядных небесах со всех краев,
Несказаннейшие светы всех цветов,
Усиляючись, как волнами нас облили, —
И над головой моею, отче, поплыли
Тыщи тыщ светил взошедших!.. и каких!
Не один лишь – много месяцев цветных,
Голубые и цветные полумесяцы,
Чьи лучи в потоке радужнейшем месячя,
Звезды, крупные, как солнышко, – с кольцом,
С млечной осыпью и пламенным хвостом!
И узнал я под сияньями их зарными,
Что те скалы были стенами янтарными,
И, где большею казалась высота,
Находились такие же врата.
На стенах крыла раскинулись орлиные,
А под ними – бездна тихая, пучинная...
И Архангел златокрылый, сжавший шар,
Что, как солнце, изливал и свет, и жар,
Был у врат тех. Я ж не ведал, как достигнуть их,
Не нашедши взглядом лестниц, к ним воздвигнутых.
Но внезапно два огромнейших орла
С бирюзовыми венцами у чела
К нам низринулись, – один подъял Вожатого,
А другой – меня и нес, в когтях зажатого.
Над пучиной мча, я, к страху своему,
Заглянул в нее и ждал увидеть тьму, —
В ней же... в ней же было то же небо звездное!

И, постигнув, что я, подлинно, над бездною,
Обмер, отче, я... Когда ж в себя пришел, —
Уж спускался у янтарных врат орел.
Недвижим стоял в хламиде синей, взвезной,
Тот Архангел, ввысь глядящий и рассеянный.
“Ну, очнись, друг Урииле! Отвори”, —
Молвил Старец... И дверные янтари
Под лучом из шара, ангелом направленным,
Заблестали, растворились... И пред явленным
Замер я... На равном взгорье морем лоз
Виноградье золотое разрослось
С древним деревом посреди в плодах сверкающих.
“А сия обитель – Истины Алкающих”, —
Громко вымолвил Вожатый. И пошли
Мы по мелким янтарям взамен земли
Между куц с янтарно-вызревшими гроздами,
Под янтарно-раскатившимися звездами...
И увидел тут я птицу, аки снег,
Ростом большую, чем статный человек,
Что стояла под листьем, полна величия...
“Птица-Астрафель, праматерь рода птичьего”, —
Мне Вожатый... И увидел я потом
Зверя с рогом единым надо лбом,
В шерсти искристой, что гордо лег у дерева...
“Сей же – Индрик-зверь, прапращур рода зверьего, —
Снова Старец. – Ибо должно, чтоб ты знал:
Здесь, не где еще, начала всех начал”.
Видел также я скакавшего по воздуху
Окрыленного коня. Спустился для роздыху,
Выбивал он ключ копытами – и пил...
И другого, вовсе дивного, что был
Снизу – конь, пригожий юноша – от пояса.
Он задумчиво блуждал, в лозовье крося...
И сказал про них Вожатый: “Тот – Пегас,
Друг сказителей... А этот – Китоврас.
Наидобрим он является помощником
Мудрецам... Вон тем блаженным полунощникам”.
И мне здешние он души указал.
Шесть иль семь из них с стеноподобных скал
В трубы узкие хрустальные дозорные
Созерцали высь, светилами узорную,
А другие в куцах, гроздем завитых,
Сочиняли нов акафист либо стих,
Виноградинки вкушая, к Богу мыслили
Или нечто на песке янтарном числили.
Был же каждый в синей мантии до ног,
Над челом имел горящий огонек,
Что порхал, за ним повсюду, отче, следуя, —
И дивился безграничнейше на это я;

А Вожатый тотчас: “Те, что видишь ты,
Вечной правды средь мгновенной суеты
В мире жаждали... За то ей здесь насыщены.
И Свят-Дух на них, тот огонек восхищенный.
Вон два мужа. Этот держит кругомер,
Тот же – шар, земле подобный... Свыше мер
Оба счастливы от истины изведанной,
В мире ж были за нее сожжению преданы.
И другие два, из коих первый, знай,
На земле еще воспел во сказе рай,
А другой его явил в изображении, —
Как светлы они, смотри, от лицезрения!”
Я ж, и правда, услышал от первых двух:
“Как чудесно осеняет разум Дух,
И как ясен мир в его сосредоточии!”
От вторых же: “Сколь прекрасен рай воочию!..”
А Вожатый, лишь мы мимо их прошли:
“Эти четверо – от римской земли.
Там же – видишь? – царь с царицей византийские,
Да бывшие князь с княгинею российские.
Те искали правды в словесах святых...”
И узрел я тотчас этих четверых:
Опираясь на жезлы, крестом венчанные,
По тропам они гуляли, осиянные.
Смуглолиц и строг был первый из царей,
А второй – румян и много добрей,
А царицы, сединою серебрянные, —
Бабки ль, матушки ли их – лицом мудреные...
И заметил я, что здесь, как нигде,
Был Вожатый мой в особой светлоте,
И встречали здесь его особо чаянно,
Как нигде еще... какжданного хозяина!
Вопрошал один: “Учителю! Открой,
Как зовется то созвездье, словно рой?”
А другой: “Скажи, премудрейший Апостоле! —
Там, в зените, зга туманная ли, звезды ли?”
Пояснял Он, ввысь взирая, как орел,
Дальше шел и, наконец, меня подвел
К древу древнему, ко древу древоданскому
Что сверкало всё, шатру подобно ханскому,
Что кореньями касалось руд земных,
А вершинными ветвями – звезд ночных, —
К древу с яблоками огненнейше-алыми...
И второй раз с той поры, как с ней блуждали мы,
Евы правнука чуть слышно прорекла:
“Здравствуй, дерево добра и зла”.
Как бы в страхе древо выпренинее дрогнуло
И пред ней в поклоне низком ствол свой согнуло...
А на этот голубино-детский глас

Вмиг мной виденный явился Китоврас
И, приняв дитя руками смугло-лосными,
Стал кормить его плодами лученосными.
Молвил Старец: “Будь же мудрой, как змея”.
Крест свершил над ней и – вышел. С ним и я.

Бездны, бездною Премудрости зовущейся,
Не нашли уж мы, спустясь тропую выющейся
В дол лесной с янтарной, низкой тут скалы,
И лишь кликом проводили нас орлы...
Становилась высь беззвезднее, рассветнее,
Лес кругом – всё благодатней, заповеднее...
Вдруг из мглы седых и розовых стволов
Как бы тонкий перезвон колоколов
Мне послышался... И увидал невдолге я,
Что побеги на елях, прямые, колкие,
Как и шишки их, свисающие вниз,
Вроде свеч из воска ярого зажглись —
Свеч пасхальных, и зеленых, и малиновых...
Хор же иволог, щеглов, дроздов, малиновок
Собрался близ них, вспевая на весь лес
Человечьим языком “Христос Воскрес!”.
И весьма то было, отче, изумительно,
А не менее того и умирительно.
Вдруг кругом, как дым из множества кадил,
Благовонный и густой туман поплыл, —
Занялся мой дух в тумане этом ладанном,
И в бесчувствии, нежданном и негаданном,
Пал я... Старец же, над мной колебля ветвь:
“Эх, Иване... Встань... ‘Воистину’ ответь...”
Отвечал я клиру птичьему, как сказано, —
И исчез с очей туман, как плат развязанный.
Вижу – прямо восковые врата
И такой же тын, прозрачнее сота,
Как свеча, тычинка каждая в особицу,
Но, горя, тын не сгорает, воск не топится...
И стоит у врат Архангел со свечой,
В ризе дьяконской златисто-парчевой,
Серокрыл, очит и полн молитвы внутренней...
“Что у вас, Салафииле, знать, заутреня?” —
Вопросил его Вожатый. Нежа слух
Гласом певчим: “Уж отходит”, – молвил дух.
Ко вратам поднес свечу свою горящую, —
И растаяли они... И узрел чашу я
Неземных цветов, в которой был укрыт
Весь уханный, весь увейный горний скит!
“А сия обитель – Милостивых”, – слышу я.
Мы вошли в нее. Под небом, как под крышею,
Между келеек укромных восковых,

Не из камня – из цветов полевых
Церковь Божия созиждена... Как звонницы,
Превысокие под ветром мерно клонятся
Колокольчики – тот бел, а тот лилов —
И трезвонят ладней всех колоколов!
Вкруг касатики и маки светят – теплятся,
Как лампадки... Над престолом же колеблется
Херувимов лик, не писанный, живой,
И лежит антиминос – розанов завой.
Возле движутся в согласном сослужении
Души в голубо-глазетном облачении, —
И сияют в свете утренней зари
Свечи, посохи, кадила, орари.
А кругом, о чудо чуд! – смиренной паствой,
О себе порой лишь вздохом шумным явствуя,
Службу радостно-пасхальную стоят
Туры, вепри, зубр, медведь средь медвежат
И иные звери, дикие, косматые,
Яркозубые и пристально-рогатые...
Вновь на Старца глянул я, преизумлен.
“Всяка тварь да хвалит Господа! – мне Он. —
Те ж, что видишь тут, сильны великой силою:
В мире прожили не токмо ближних милуя —
И скотов... За то помиловал их Бог —
И соделал здесь им в каждый день – не в срок —
Пасху красную, сей праздник всепрощения”.
Между тем, отец, окончилось служение,
И увидел я тех праведных вблизи.
Были стран чужих, но боле – от Руси,
И не юных лет, но возраста преклонного.
Многих Старец для меня, невразумленного,
Указал, их называя имена, —
Сирина, Молеина, Дамаскина, —
Но и многих же запамятовал, отче, я...
А запомнил на всю жисть меж братьей прочею
Я двух иноков с кириллицей в руках,
Думных, статных в голубых их клобуках.
Отче! Были то подвижники Печерские,
Их же пустынь разорил когда-то, дерзкий, я...
И они мне: “Понял ты хотя бы днесь,
Что Ценнейшее серебра и злата есть?”
И с улыбкой в восковую скрылись келию...
Я ж от слов их ощутил смущенье велие.
В те поры меня покинул как раз
Мой Вожатый, по душам заговорясь
С обитателями ласковыми скитскими.
Тож, как вепрь иль сор меж зернами бурмитскими,
Был я здесь... Развеселил меня на миг
Старца милого ребячий вид и лик

Из-под синя куколька, цветку подобного,
В коем Сергия узнал я Преподобного.
Он ласкал, смеючись, бурых медвежат...
Но отвел и от него я вскоре взгляд,
Словно, отче, и пред ним был в чем неправый я...
Четверых еще я помню... Величавые...
Митра солнечная, посох злат и прям,
А на длани – малый выточенный храм...
“Больше, больше, чадо, жалости и милости!
И почто на нашу церковь позарилось ты?!” —
Рек второй мне. Промолчали три других,
Слово кротко утаив в устах своих...
Прочь пошел, опять потупив очи долу, я, —
И был встречен тут Святителем Николою.
Тонкий лик, борода клином, взгляд морской —
Вострый, вострый... Мне ль не знать тот лик? Доской
Забивал, чай, сам на нашем на кораблике!
На плечах его сидят – щебечут зяблики,
Он же громче их, грозя мне рукой:
“Ой, разбойниче! Ой, плавателю злой!
Что, уверовал теперь в Царя Небесного,
И в раи Его, и в Суд след Дня Воскресного?”
И тот детский гнев не столько устрашал,
Сколь крушил меня... Так взял бы и бежал!
Да Вожатый всё гостит у горних братиков...
Вдруг – я слышу – шелестит из-за касатиков
Голос Сергиев: “Николае... Мой свет!
Ты, чай, милостивым прозван... Али нет?
Мы же все, кто от Руси, родимся шаткими, —
Люты ль, кротки ль... схожи с сими медвежатками!”
И угодник, всё грозя еще перстом,
Уж шутливо мне: “Добро, что плыл с крестом!
А не то бы закупались в Белом Море вы...
И багряный огонь, не тихий свет лазоревый,
Зрел бы днесь ты... Я ж вас, глупых, пожалел —
Ветр связал и море ввел в его предел,
Ибо тяжко не спокаяться пред смертью...
Морю ж есть предел, но Божью милосердию
Нет и нет его!” – И, прослезясь сквозь смех,
Друг всех гибнущих, всех плавающих – всех —
Отошел. Я ж своего узрел Водителя,
Тихо вышли мы из благостной обители, —
И далече к нам летел еще, как зов,
Звон пасхальный, беспечальный, звон цветов...

Стен горящих, волн кадильных уж не встретилось,
Роща хвойная всё редилась и редилась,
И в прогалы узрел я издалека
Бело-блещущее что-то... как снега,

Только выпавшие, чистые-пречистые.
С неба ж, отче, лишь теплынь течет лучистая...
Вот опять там снег пошел – пушит, вьюжит,
В небе ж – солнышко встающее, как щит!
Подошли... Ах, не снега то, не метелица! —
Мурава, но цвета белого то стелется,
То порхает рой белейших мотыльков
В тихом доле, не средь гор – средь облаков,
Что идут кругом и всё ж походят на горы,
Кучны, дымчаты, с вершиной что из сахара...
А средь дола в белой шелковой траве
И в воздушной по-над долом синеве
Разрезвились серафимы, херувимы ли,
Дети ль малые, которых словно вымыли
Тож в снегу, студеном, чистом, полевом, —
Так белы они, нежны всем естеством.
И красы то было зрелище несказанной...
Устремился я к нему и... встал, как связанный,
Пред оградой, что допрежь не видел я,
Ибо цельного была та хрустала —
И являла всё: игравших, дол ли, небо ли,
Но и высилась до неба. Врат же не было.
И Архангел, наг, на розовых крылах,
Вне летал – витал с кошницею в руках, —
И не вял, но рос и пах цветов, им брошенный,
На земле, как будто снегом запорошенной...
А Вожатый на раздумие мое:
“Та обитель – Чистых Сердцем... И в нее
Не дано тебе войти. Но зреть дозволено,
Ибо вся в стенах сквозных не для того ль она?!”
Подивился я: “Войти? Да где ж тут вход?”
И с легчайшею усмешкой мне он: “Вот”.
В месте гладком, где ни щелочки не значилось,
Он сквозь стену, что хотя и вся прозрачилась,
Но толста была, прошел и – вышел вон.
Я ж стоял, тем до того ошеломлен,
Что парящий дух, близ нас цветами веющий,
Лик под крылицей укрывши розовеющей,
Стал беззвучно, но немолчно хохотать, —
Юный, резвый, мотылькам большим под стать.
“Будет днесь, Варахииле, Посещение?” —
Молвил Старец. И, унявши смех в мгновение,
Лик открывши, что и в строгости был мил:
“Коль сподобимся...” – ответил дух и взмыл...
Мы же двинулись вокруг стены, глядя в нее, —
И обитель недоступная всё явнее
Становилась мне... Светлынь и белизна.
Посреди – озерце, видимое до дна,
Полно, кругло, что купель, отец, крестильная.

Вкруг – бубенчаты да белы молодильники,
Одуванчики, пушисты да легки,
И, как горленки, большие, мотыльки.
Впрягши нескольких за крылышки молочные
В огромнейшие чашечки цветочные,
Словно б в санки, мчались в воздухе на них
Души некоторых, сущих здесь, святых...
Или, сев на лист широкий ли, в купаву ли,
Как на лодочках, по озеру в них плавали...
И заметил я, отец, глядя на них,
Что, насупротив обитателей других,
Большинство здесь вовсе юно или молодо
И одето не в парчу, аль холст, аль золото,
Но в одну свою красу да волоса,
Да в сплетенные из травок пояса.
Впрочем, видел здесь и стариков, и стариц я,
С беззаботностью, какая редким дарится,
В одуванчики игравших, как в снежки,
Иль раскидывавших ангельски цветки
По тропе одной, отсель ведущей к облаку, —
И дивился я их смеху, бегу, облику...
А Вожатый тотчас: “Те, что видишь ты,
Были в мире сердцем детски-чисты —
И за то здесь удостоилися многого:
Частых зрений самого-то лика Божова.
Оттого и царство их, как снег, бело,
Состоянье же – младенчески-светло”.
И сквозь стену, в мураве и в рое вихрящем
Он средь занятых безгрешным райским игрищем
Указал и назвал бывших вблизи:
Убиенного у нас на Руси,
Малолетнего Димитрия-царевича,
Что, на тройке мотыльков высоко реючи,
Разметав по ветру кудерьки, как лен,
Мчал с другим малюткой райским на обгон...
И трех отроков – Анания, Азария,
Мисаила, что, возведши очи карие,
Ручки смуглые скрестивши на грудях,
В здешних свежих окуналися водах...
На земле ж в печи палил их царь языческий...
И красавицу, что в косу по-девически
Волоса свои, мечтаючи, плела
Да смотрела вдаль, как бы кого ждала, —
И пригожий лик всё вспыхивал, как пазори...
Та Мариєю была, сестрицей Лазаря.
Здесь же зрел я дивных трех отроковиц,
Ростом разных, схожих прелестию лиц,
Вдруг явившихся откудова – не ведаю —
И сидевших под хрустальною беседою

С царским креслом посреди. На бережку
Та сама собой воздвиглась, коль не лгу.
И сидели там они рядком, в согласии.
Та, что старше всех была и светловласее,
Над челом имела семь горящих звезд
И сплетала из цветов не вьюн, но крест.
Помолодше, та была золотокосее,
На стопах имела крылышки стрекозие
И слагала, взяв ракушек цветных,
На песке подобье якоря из них.
Вовсе махонькая, в кудрях русых вьющихся,
Миловала мотыльков, к ней льнущих, жмущихся,
И у ней в груди, трепещуще-ало,
Сердце виделось и жаркий свет лило...
И в кругу их увидал опять нежданно я
То дитя, в мир не рожденное, туманное,
На руках у мужа странных, отче, лет,
Ибо был лицом он юн, кудрями сед,
И смеялся, как дитя, дитятю пестуя.
После ж три отроковицы, давши место ей,
Стали нянчиться с ней нежно, как с сестрой.
Мне же молвил Старец: “Видишь – тот святой?
Алексеем, человеком Божьим званного
Там в миру и чистотой благоуханного,
Здесь его глашатый Божьим нарекли.
А юницы, что в места сии пришли
Из обители другой – тож Бога вестницы,
Домочадицы, порой и сотрапезницы.
Знай: без Веры, да Надежды, да Любви
Не достигнут до Него стопы твои”.
Тут запели звуки гласа Алексеева:
“Ветер райский! Лепестком тропу усеивай.
Облак райский! Стены пологом завеивай.
Души райские! Поклон земной содеивай.
Гость желанный, Гость наш чайанный грядет”.
Приоткрылись в даях облаки, как вход,
Просияли в этом месте, как нигде еще, —
А затем завесой веющей, густеющей
Пред оградою спустились до земли...
И сокрылось всё... и дале мы пошли.

Я ж то царство, мне закрытое, хоть зримое,
Всё в уме держал и... вспомнил Серафиму я.
Потому ль, что тож была бела, как снег...
Тяжко стало мне... Теперь не свижусь век!
Вдруг как сядет мотылек на кисть мне, выше ли, —
И тотчас мне полегчало... И услышал я
Лепет легкий: “Век ли? Свидишься еще...”
Так-то стало на душе мне хорошо.

Мотылек снялся – и канул сзади, веяся...
Я ж вперед пошел, впервой, отец, надеяся...
И меня вдруг поразила тишина.
До того окрест было она полна,
Что звенела. Словно в чан червонцы капали.
Ни былинки не колышелося на поле,
Не шелохнулись кругом нас дерева,
Чья серебряно-курчавая листва
Мне неведомой была и непривычною.
“Деревца те, сыне, добрые, масличные, —
На вопрос мой Старец: – Тишь несут да гладь.
Стоит ветвь сломать да недругу подать.
Не добро же, что заламывать их некому...
В вышних – мир, но не внизу, меж человеками”.
В том же месте я увидел три ключа,
Что текли из недр, не брызжа, не журча,
Со струей, как мед стоялый, загустелою, —
Этот – желтой, этот – розовой, тот – белойю.
А близ них, сполняя как бы стражей долг,
Здесь змея легла, тут коршун сел, там – волк.
Вкруг духи лились елейные и мурные,
Но не шел я, забоявшись... “Твари – мирные, —
Молвил Старец: – Подойди ж!” И, точно, я,
Близясь, узрел, что без жала та змея,
Волк лишен зубов, и нет когтей у коршуна...
Старец, взорами сверкаючи восторженно,
Пояснял мне: “Се – три дивных родника —
Не воды – елея, мура и млека —
Благодати, Благолепя, Благоденствия.
Те же – ворога их три, несущих бедствия, —
Ложь-змея, Свирепость-коршун, Алчность-волк,
Побежденные немногими...” Он смолк.
А потом: “О, если б так творили многие...”
И размысливал всё время по дороге я
О словах его премудрейших... Но раз
Заприметил я, назад оборотясь,
Что отныне вслед за нами несея издали
Кто-то... Бабочка ль большая, дух сквозистый ли...
Кто – не знал еще в то время я, отец.
Впереди же вскоре встал большой дворец
Белых мраморов, кругом – цветы лилейные
Да деревья те же самые елейные...
И ни створок, ни дверей у пышных врат,
Лишь завесы горностаевы висят,
Но разлегся лев, всех прежних чуд свирепее,
Перед входом. Там же... там – великолепиие.
Встал, как вкопан, я, от страха побелев,
Ибо, отче, то был подлиннейший лев,
Зубы, когти у него – я зрел – имелися...

Засмеялся Поводырь: “Что ж? Не осмелишься?
Или овна ты смиреннее?..” И впрямь,
Вижу я, ягненок близится к дверям,
Не страшася зверя пышно-рыжегривого,
Тот же встал и... и не чудно ль? повалив его,
Не терзать, лизать стал нежно... и исчез,
С ним играясь... А средь вспахнутых завес,
Облеченный в корзно пурпурное княжее,
Опустив крыла серебристые лебязие,
Встал Архангел, что держал в руках венец,
Приглашая молча в гости во дворец.
“Тишь у вас, Егудииле, благодатная!” —
Старец духу. Лишь улыбкою приятною
Вновь ответил тот и скрылся в глубине.
“То – обитель Миротворцев”, – Старец мне.
И пошли мы с ним палатой за палатою...
Мрамор с жилкой голубой и розоватою,
Иссеченный знаком крина и креста,
Тишь звенящая и, отче... пустота!
Ибо длился тот дворец, как заколдованный,
Без конца в нем было гридниц уготовано,
Столько ж княжких красна дерева столов
Меж хоругвей среброниклых у углов, —
Душ же встретил я здесь только семь ли, восемь ли...
В горностаевой хламиде, павшей до земли,
Без меча и стрел, но с солнечным щитом
И в венце, сияньем бледным разлитом,
То беседа чуть слышно, то безмолствуя,
Полны дивного душевного спокойствия,
Тихо двигались они, ласкали львов
Иль читали вязь евангельских слов,
Изукрасившую притолки с простенками
Чермно-голубо-червлеными оттенками.
И сказал мне Старец: “Сыне, не дивись,
Что столь пусто здесь... Доступна эта высь
Лишь дружинникам Христовым светлым, истинным,
Что творили мир в миру братоубийственном
И за то, Его сынами наречась,
Днесь в царении Его приемлют часть”.
Был король тут иноземный... Над Евангельем,
Златобрадый, он беседовал с Архангелом.
От Руси два князя. Зрел и постарей.
Слив в одно и смоль и инейность кудрей,
Те склонялися над шапкой Монамаховой,
Прикрепляя древний крест к парче шарлаховой.
“Александр и Володимир, – назвал их
Мне Вожатый: – Вот – пекутся о своих...”
Был здесь также витязь чудный... Ока впалого
Не сводил он с кубка поднятого, алого

От хрустального состава ль, от вина ль,
И шептал одно всё слово... вроде "граль"...
Под конец же, отче, узрел там я отрока,
Ангелицами ведущегося под руки.
Кругл, пресветел лик у каждой девы был,
За плечами же – двенадцать малых крыл,
И влеклись по полу долгие их волосы,
Лучезарные, как световые полосы...
Он же, оченьки смеживши, словно б слеп,
Нес рукою левой артосовый хлеб,
Правой – криновую ветвь снегоподобную, —
И такое распрекрасное, беззлобное
Он лицо имел! столь царственный вид!
А Вожатый про него мне говорит:
"Отроча благословенный... В дальнем будущем
Он владыкой не карающим и судящим,
Но вселюбящим родится в дольний мир
И внесет в него навечнейший мир.
Хлеб святой – его держава, скипетр – лилия,
Ангелицы ж, что над ним простерли крылия,
Духи солнечных и месячных лучей,
Сиречь – Радости и Милости..." Речей
Не продолжил он. Вслед за тремя идущими
Очутясь пред палисадами цветущими,
Мы сошли в них из тишайшего дворца
И, любуясь и дивясь без конца
На златистых львов, лежавших там с барашками,
И на белых соколов, игравших с пташками,
Из обители покоя мы ушли.

Думчив шел я... Всё ж приметил, что вдали,
Как и прежде, вместе с нами Третий следовал.
Я ж, всем узренным подавлен, немо сетовал:
"Те сразили волка, коршуна, змею...
Я сражу ль хоть волю злую мою?!
Побежду ль в себе я зверя хоть бы в старости?..
Да и есть ли Власть моей противу ярости?..
Ибо, отче, я хоть лют, но не лукав, —
Знаю-ведаю неистовый свой нрав...
Вдруг с ветвей елея капелька тяжелая
Мне на лоб стекла и вниз на шею голую,
И услышал тихий шепот я: "А Бог?!"
Я воспрянул! я сомненья перемог!
И отсель пошел, впервые, отче, веруя...
Вижу – там, между листвой сребристо-серою,
Как бы круг из жарко-пышащих костров,
Чей огонь, однако, розов, не багров,
И не едких смол, а сладких роз уханьице
К нам оттудова струею тонкой тянется..."

Устремились мы, – и глянул я назад:
Тут ли Третий?.. Отче! Двое уж летят —
Он и Кто-то уж второй, всё так же издали,
Кто-то... Крупное созвездье, дух лучистый ли...
Но не знал еще тогда я, Кто был он.
Мы приблизились меж тем... Ужли не сон?!
Не костры из сучьев высохших набросанных,
То – ограда из кустов в горящих розанах,
А над нею птицы с алым пером
Вьются – спустятся, займутся огнем
И, сгоревши, воскресают... “Птицы-финисты”, —
Указал на них мне Старца перст морщинистый.
Вот и розовые вижу я врата,
Но... увы мне! – Как два сплетшихся куста
И с шипами грозно-острыми терновыми...
А при них, укрыт крылами бирюзовыми,
Весь в лазоревых стекающих шелках,
Предстоит Архангел с зеркалом в руках.
“Как Сиянье Пресвятыя Богородицы,
Гаврииле?” – рек Вожатый. “Днесь приводится
Ей пред Господа ожившая душа”, —
Молвил дух... И, обожанья не туша,
Нас обвел очами радостнейше-синими...
И сказал мне строго Старец: “Знай, что минем мы
И сию обитель, ежель этих врат,
Убоявшись, как и досель, преград,
Не пройдешь ты сам...” И стал я в колебании.
Тут следящие за мной на расстоянии
Подшли ко мне, овеяв, озарив,
Понесли... И веток колющий извив
Ощутил уж я у сердца и вокруг темени,
Как по розово-терновой гуще, темени
Что-то молоньей блеснуло... И тотчас
Вход скрывающая чаща расплелась.
То Архангел отразил ворота в зеркале, —
И от сил ли, в нем таящихся, от сверка ли
Те разъялися... И розановый сад,
Вдвое розовый, затем что был закат,
Ослепил меня, как свет сокровищ исканных...
“А сия обитель – правды ради Изгнанных,
Как и тех, что пострадали за Христа...” —
Тихо вымолвил Вожатый... И туда
Мы проникнули. Огонь и благовоние...
Всюду, яхонтовой зорь и солнц червоннее,
Завивающихся розанов шатры,
Расстилающихся розанов ковры...
А меж ними – птицы, сущие лишь в рае, чай, —
Воскресающие, в пламени сгораючи.
И, подобный им, развитый в пламена,

Дивный куст... “Неопалима Купина”, —
Молвил Старец, проходя и поклонясь ему.
На него глядя, последовал и я сему.
Были, кроме роз, растущих из земли,
И такие тут, что в воздухе росли
Иль летали в нем, кропя росой духмяною, —
И не знал, когда дивиться перестану, я...
Но по времени, хоть и смятенен весь,
Стал я видеть обитающих здесь.
Их довольно было, отче, но не множество,
Облеченных безо всякого роскошества
Голубой сорочкой длинной, но с каймой,
Богородицей расшитой самой!
Старцы с свитками, раскрытым или свернутым,
Любовались небом пламенным задернутым,
Восхищались чудесами, что сбылись,
И шептались о новых, что ждались...
То пророки были. Строгие, очитые...
Девы, юноши, подняв чела, увитые
Огненным вьюном, к румяным небесам,
Застывали в сладком слушании... Там
Стая ангелов с серебряными лирами
Разливалась вечерними стихирами...
Три души сошлись у вечных часов,
Бывших тут заместо солнечных... Без слов
Улыбались две с забвенною беспечною.
Третья ж вымолвила: “Что часы пред Вечностью?
Что страданья пред восторгом, что нам дан?!”
И сказал Вожатый мне: “То – Севастьян,
Что приял мученье лютое и длинное.
А вон те – Варвара, друг, с Екатериною”.
Две души, склонясь, глядели в глубь зеркал
Чудных, отче, где не облик их вставал,
Но весь мир – моря и земли с каждой малостью.
“Как хворает та жена! – сказала с жалостью
Дева первая: – Сойду-ка ей помочь”.
А вторая с ликованием: “Эта ж в ночь
Будет к постригу с молитвою готовиться, —
Встану ж я у ней, бессонной, в изголовьице!..”
Зрел средь нескольких, гулявших в густоте,
И двух наших я, замученных в Орде.
Но про всё, что в этой розовой обители
Изумленные глаза мои увидели, —
Перескажешь ли?! Идя всё глубже в сад,
Мы в его другую часть без всех преград
Вышли. Дивная поляна с дивным деревом...
Люди! Как судить о виде его, мере вам?
Из небес растет лазорев ствол его,
А листьё и ветвьё, зорьно-розово,

Вьется вниз и над вселенной простирается...
А в том месте, где то древо расширяется,
Плод один лишь, но громаднейший, висит,
Словно жемчуг, розо-матов и раскрыт, —
И стекают белый сок с румяным семенем
По ветвям, не исчерпаемые временем...
Два колодезя стоят в его тени,
Теми токами по край полны они,
И вода в одном прозрачная, замершая, —
В ней лицо твоё бледнеет, как умершее,
А в другом – ала, бурлива, как вино, —
В ней лицо твоё, как в детстве, румяно.
Близ – черпак из липы, в золото оправленный,
Возле первого же – ковш из меди травленной.
Мне ж, отец, хотелось пить невперенос.
Ковш схватил, черпнул, к устам уж я поднес,
Как его рука Вожатого вдруг выбила.
“Неразумнейшее чадо! Если б выпило,
Вмиг бы умерло без покаянья ты...
Ибо этот кладезь – Мертвой Воды”.
И качал главою Старец укоризненно...
Точно, чувствую, язык мой как безжизненный:
Только капелька попала на него,
Но на время онемел я от того.
А Вожатый пояснил мне непонятное:
“Знай, пред нами – Древо Жизни благодатное.
Но для вечного в Боге бытия
Должно пить вам горечь смертного питья.
Оттого – мертвящий сок с живящим семенем
В этом древе... Но не будет так со временем.
Ведь с Живой Водой кладезь тож для вас”.
Нем, внимал я и взирал... И в третий раз
Увидал я здесь дитя, в мир не рожденное,
Даровать бессмертье людям обреченное.
Возле дерева дремала она,
Внука Евина... А дивная жена,
Огnekрылая и огненноочитая,
Простираючи над ней крыла раскрытые,
Ей шептала что-то, видимо, уча.
Вновь я узрел здесь и чудного врача,
Что трудился в граде кротких... Тож заботяся,
Набирал воды живой он из колодезя
В малый, круглый, переливный сосуд,
Шару мыльному подобный... И тут
Обратиться захотел к нему я, думая,
Что излечит той водой он немоту мою, —
Но сказал мне Сердцевед мой: “Скорбь таи,
В должный срок уста отверзятся твои...
Глянь – София свет-Премудрость там, близ крестницы.

Распрекрасна как! И тут же боговестницы,
Ныне – спутницы твои... Утешься, друг!” —
И увидел, наконец, я этих Двух,
Бывших с неких пор на всех путях, мной иденных.
Ах!.. То были, отче, старшие из виденных
Мною в белом царстве трех отроковиц —
С парой крыл у стоп и в звездах средь косиц.
И до слез меня наш путь совместный радовал,
Хоть зачем он, почему, – я не угадывал...
Только меньшенькая, с сердцем в огне,
Не была средь них... И стало грустно мне.
Но, пока стоял и в грусти, и в восторге я,
Вдруг слышалось: “Дороженьку Георгию!”
И примчал на белооблачном коне,
Трисианен в сребросолнечной броне,
Ясен-юныш... И стеклись все души, слушая:
Был же глас его точь-в-точь свирель пастушая:
“Райски души! Днесь, все мытарства сверша,
В рай наш просится новая душа.
Собирайтесь же на Суд Господень праведный
И молитесь дати ей удел ваш завидный”.
Повещать другие царства скрылся он...
Мне же вздумалось: сегодня сорок дён,
Ровно сорок – страшной смерти Серафиминой!
Нова душенька... Да не она ль – то, именно?!
В миг тот двинулся Вожатый. Я за ним.
Он же, видя, как я духом томим:
“Те, что видел здесь ты, лучшие меж лучшими...
За Христа в миру гонимы были, мучимы...
И за то им царство ближнее далось,
Царство алое, как кровь их, Царство Роз...
Близ них – Свет светов и серафим Славнейшая.
Да, их многа мзда...” А я... Терзался злейше я! —
Тех замучивали меч, и хлад, и пыл...
Я же сам замучил... жег, язвил, убил.
Люба белая!.. Где скрылась, где девалась ты?..
И сгорало, исходило сердце в жалости...
Вдруг летучий розан пал на грудь мою,
И услышал я, как слабый вздох: “В раю!..”
Ожил, отче, я... И шел, ведом отечески,
Я отсель, впервой любя по-человечески.

Ныне был наш путь всё вверх, в синейшей мгле,
И как будто бы, отец, не по земле:
Ни о камень, ни о травку не кололася
Уж стопа моя... И вдруг три девьих голоса
Где-то песней залились... донеслись...
Глянул прямо я, направо, влево, ввысь
И назад взглянул... И увидал тогда-то я,

Что уж Трое – звездоносная, крылатая
И... и Кто-то, зарный дух иль розан-ал,
Вслед несутся... Кто тот Третий – я уж знал.
Но откуда песнь, – искал глазами снова я, —
И предстали вдруг врата мне бирюзовые,
Что распахнуты стояли совсем,
А за ними... Если б не был я уж нем,
Я бы, отче, онемел от восхищения. —
Дворик храмовых светлее и священнее
В незабудковой сплошной голубизне
Снизу, сбоку, на оградной стене.
Посреди же – терем в чуднейшем узорочье:
Над оконницами – сизы крылья горличьи,
Куполок эмали синей над крыльцом,
Над коньком же – звездь сапфирная венцом.
До того там было чисто, до того ясно,
Что вступить туда мне, отче, было боязно...
И покудова я, став у врат, робел,
Разгадал я тех, кто сладостно так пел.
Три их было... Полуптицы, полудевицы,
Разубравшиеся, словно королевицы —
Косы в бисере, под жемчугом лоб,
Но пернаты, лапы птичьи вместо стоп:
В черных косах и крылах – с крылечка клонится,
В русых косах, в сизых крыльях – над оконницей,
В злате ж кос и крыл – над крышею, средь звезд.
“Птицы Сириин, Гамаюн и Алконост”, —
Рек Вожатый. Ах, как пели они, отче мой!
Всё блаженство, что лишь мыслимо, пророчимо,
Крылось в песне той, что к небу неслась.
Томен был, как у голубки, первой глас,
У второй, как соловья, полн звонкой прелести,
А у третьей, как у жаворонка, трелистый.
Всё забыл я... Но сказал мне Старец: “Внидь!”
И вошел я, взор клоня, боясь ступить.
“Это – Девич-двор и терем-Богородичен.
Здесь ты узришь, сыне, райского привода чин”, —
Старец мне. И вспыхнул я и встрепетал...
Страж от розовых ворот и тут встречал,
Но не с зеркалом уж был он – с ветвью криновой.
Ангел зорящий стелил ковер малиновый,
Ангел ветрящий вносил хрустальный трон,
Дух седьмых небес – был многоокий он —
Золоты-весы с сапфировыми чашами.
“Оознакомишься с обычаями нашими...
В некий день сие понадобится, друг!” —
Шутит Старец, разъясняя всё мне... Вдруг
Растворилась дверь таиннейшего терема, —
И меж той женою с огненными перьями,

Что уж зрел я, и другою – не в крылах,
Но от финистов, сидящих на плечах,
Окрыленную казавшейся, – спустилась к нам
С несказаннейше-прекрасным, ясным, милостным
Ликом Дева ли, Жена ли – кто б спознал?
И в земном поклоне, грешный, я пал...
Поднялся, гляжу – кругом нас, неисчислимы,
С быстротою объявившись немислимой,
Души райские стоят все до одной,
И вмещает двор их малый теремной.
“Знаешь, Кто Сия между Анастасиею —
Воскресеньем и Премудростью – Софиею? —
Шепот старчий возле уха моего: —
Это – Матерь Бога Слова самого!”
И покинул тут меня Сопровождающий.
А Она!.. Уста как розан несвядающий,
Взор голубящ, голубеющ – неба клочок!
И убрус, как небо, голуб и глубок —
Над косою Ее лучащейся, расчесанной...
И одежда как невянущие розаны!..
Опахалом к ней склонялись перья крыл,
Преклонясь, цветком Архангел Ей кадил,
Славу пели трое птиц – красавиц – песенниц,
Но умолкли... И воззрились вглубь небес они...
Цепенея, ник в наставшей я тиши.
Сколько душ было! И как бы – ни души...
Вдруг по выси гром промчал могучим ропотом,
И, сверкая золотым колесным ободом,
Прокатилась колесница без коней,
И глубокий грозный старец, стоя в ней
(В нем, отец, признал тотчас Илью-пророка я),
В высь копье воздел, ее слегка им трогая.
Распахнулась та, как синий шатер,
Звездна лествица спустилась к нам во двор,
Потянулись духи лентою развитою, —
Всю ту лествицу обстали светлой свитою...
И сперва по ней стремительно прошел
Муж пречудный, как огромный орел,
В шкуре овчей, в кудрях черных... У предплечия —
Крылья пламенные... В нем узнал Предтечу я...
А вослед ему, неспешно и легко,
Как приявшее образ облачко,
Шел улыбчивейший Некто и загадочный
Во кудрях, волной текущих златопрядочной...
Словно агнец-бел, спускающийся с гор,
Он вступил в льняном хитонце во двор.
Пали в ноги все – ударили челом Ему,
Всех приветил Он по-райски, по-знакомому
А как встал с колен я, – узренный вблизи,

Лик Его меня прельстил и поразил:
Столько было в нем красы и силы внутренней.
Но опущены младенца целомудренней
Были веки, как два белых лепестка, —
И не видел я очей Его пока.
Уж как сядет Он на трон, как облокотится, —
И встает за Ним всех ближе Богородица,
А Иван-Креститель с правой руки,
С левой – Старец, мой Вожатый благий...
И лишь тут, где незабвенность бирюзовая,
Вспомнил лик... Узнал Ивана-Богослова я!
Вот точь-в-точь, как на иконке твоей, —
Орлеокый и поток седых кудрей...
Да и понял, почему досель Он вел меня —
Душегуба, святотатца – Красно-Польмя —
Царством Божиим... Казал, учил о нем
Мой же Ангел!.. Да... И вот я – пред Христом.
А кругом Него – пророки и святители,
Тут же – мученики... Дальше – по обители,
Но иные – по заслугам, по любви.
Лики Веры, Надежды и Любви
Улыбались меж Его пресветлых рученок,
За плечом Его стоял Егорий-мученик,
Близ Премудрости. У ноженек, что снег, —
Муроносица и Божий человек...
А на кровле теремной меж дево-птицами
И уж знаемыми мною ангелицами
Все Архангелы, кроме одного, —
Крыльев радуга и ликом торжество!..
Вот среди них крыла златистые имеющий
Вострубил в трубу и замер вновь немеюще...
И предстали, отче, трое пред Царем.
Оказались два: тот – райским вратарем,
Тот – Архангелом седьмым, по душу посланным,
Только третий на ковре багряном постланном,
Что стоял, расширяя очи и дрожа,
Мне неведомым казался... “Се – душа, —
Рек вратарь седой, – что уж прошла мытарствия...
Ныне, Господи, в Твое стучится Царствие!
Отворю ли ей? Суди и укажи”.
И увидел тут я, глянув в лик души,
Очи, ярче свеч, тоскою полны смертною...
Судия ж Прекрасный с жалостью безмерною
Пригорюнился, чело на длань сложа.
Рек Архангел краснокрылый: “Се – душа,
Что уж сорок дней рассталась с плотью брэнною...
Изгоню ли ее, Господи, в геенну я?
Вот дела ее. Суди и разреши”.
Подав свитки он. Я ж, глянув в лик души,

Белизну снегов узрел сквозь желть смертельную...
Судия ж Прекрасный с лаской беспредельною
Улыбнулся, свитком принятым шурша.
Молкли все... И содрогалась душа...
И узнал в ней вдруг, отец мой, Серафиму я!
Пали свитка два, закатом розовимые,
В две сапфировые чаши весов,
Миг один протек, ужасней всех часов, —
И качнулось коромысло нелукавое:
Перевесила намного чаша правая...
Подался вперед я, радостно дыша...
Уж как глянет ныне в мой лик душа,
Да как слабым голоском возговорит она:
“Вот еще один неписанный, нечитанный
Грех мой, Господи!.. Разбойник, ворог Твой
В смертный час вдруг пожалелся крепко мной...”
И впервой поднялись веки лепестковые,
И разлились окияны васильковые
Из благих нечеловечески глаз,
И раздался глас, златой, как хлебный клас:
“Не разбойника ль возвел в раи из бездны я?!
Подойди ко Мне, млада-душа любезная!”
И приблизилась дрожащая душа,
Накрест руки на груди своей сложа...
И давал Он поцелуй ей свой божественный,
И вставал с хрустальна креслица торжественно,
И велительно по-царски говорил:
“Петр-Апостол и Архангел-Михаил!
Вы берите душу чистую за рученьки.
Вы ведите-ка ее по снежной тученьке
В Царство Белое, достойное ее,
Чтобы зреть ей без конца Лицо Мое”.
Рассиялася душа тут Серафимина,
Море счастья объяло и любви меня,
Ликовало всё со мной и надо мной, —
Души двинулись – и все до одной
Ликование сестрице новой роздали,
В облаках же, кругом сидючи, апостолы
С чином ангельским поздравили ее,
Сами ж ангелы ей райское житье
Прославляли, рея, трубами и бубнами,
А с седьмых небес усилиями купными
Лев, орел, крылатый юныш и телец
Ей спускали золот-лучен венец,
Херувимы-серафимы жгли светильники,
Рассыпали звездь, как цветы-молодильники,
Но внезапно лик укрыли под крыло...
Синь прорезал Низлетающий бело,
Синь потряс Грядущий в громах и блистании.

И упал я ниц без зренья, без дыхания...

Вновь очнулся я у врат золотых,
Кем-то вынесен, дремотен, немо-тих...
И с тех пор преобразился свыше меры я —
Во Христа-Царя, в раи Его я верую,
Ибо сам их зрел меж двух весенних зорь,
Отче, отче мой! Сколь чуден их лазорь!...»

И умолк Иван прозваньем Красно-Полымя.
Лишь баюкала кукушка по-над долами,
Лишь покачивалась с пеньем зыбка волн...
И сказал монашек, думы вельей полн:
«Знать, должно, чтоб ты пути сии проследовал,
Знать, должно, чтоб ты о рае мне поведывал...
Дивен, сыне, во святых Его Бог».
А Иван вдруг на сыру-землю прилег,
Как дитя изусталое на пелены, —
Бледен мертвенно, лишь очи жарко-зелены...
«Мне б спокоятся...» — чуть слышно молвил он.
И сказал монашек, мал, но умудрен:
«Знать, должно, чтобы тебя я исповедовал,
Я, который, сыне, мира и не ведывал».
И холщовую простер епитрахиль...
И слыхали только он да травы, мхи ль
То, что молвилось ему лихим разбойником...
А снялась епитрахиль — и упокойником,
Тихим, светлостным, под нею тот лежал.
И трудиться стал монашек, стар и мал,
Обмываючи Ивана тело белое,
И заметил вскоре он, то дело делая,
Раны чудные на хладном теле том:
Шеи около — багряным крестом,
Да на правом локте — якорем алеющим,
Да на левой груди — сердцем ярко-рдеющим...
«Дар от Веры, Надежды и Любви, —
Прошептал он... — Чудны, Бог, дела Твои!»

Ой, и радостно ж в погоду Море Белое,
Как ново-вино, в раю самом доспелое!
За волной волна играет, как гусяр,
Как у праведниц, белы крыла гагар...
В эту пору над могилой середь острова
Виден крест березника сребристо-пестрого.

*Январь — июнь 1922 г.
София*

ГОЛОС НЕЗРИМОГО

беженская эпопея

*Если вас будут гнать из одного
города, бегите в другой.*

Ев. От Матфея гл. X ст. 23

*...и все мы за границей —
одна фантазия...*

Достоевский («Идиот»)

В ПЕРВЫЙ РАЗ

В незабвеннейший день, когда ЭТО случилось впервые,
Жизнь особенно горестной Лёль показалась с утра:
Замер пульс у часов, верных, милых – еще из России, —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.